

А. КОЛЧАНОВ

ГОЛОДНЫЕ МУЖИКИ

Даммковей MS

1

✓
58087

+

✓



А. КОЛЧАНОВ

ГОЛОДНЫЕ МУЖИКИ

Повести и рассказы



БИБЛИОТЕКА ЗАВКОМА
Очерского завода

Пермское книжное издательство
Пермь — 1959

Художник Ю. К. Лихачев

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Имя автора предлагаемых читателю повестей и рассказов в литературе появляется впервые. Между тем человек он уже немолодой. Родился на рубеже нынешнего столетия, в 1899 году, в Перми, в семье железнодорожного стрелочника. Мать его, недавно умершая, родом была из деревни Усолье, Остроженской волости, Оханского уезда, Пермской губернии. И хотя прожила много лет в городе, однако хорошо помнила и знала деревенскую жизнь конца прошлого века. Была она сказительницей, и сын многое узнал от нее о тяжелой мужицкой доле. Именно через мать Александр Петрович Колчанов, коренной уралец, потомственный железнодорожник, почти всю жизнь проживший в Перми и на ближайших к ней станциях, был тесно связан с деревней, особенно оханской, с условиями жизни в ней, с ее нравами, обычаями, со своеобразным сочным уральским говором. В памяти А. П. Колчанова, человека наблюдательного, умеющего хорошо вглядываться в окружающую его действительность и в прошлое своего родного края, великолепно сохранились и уложились и картины дореволюционного быта железнодорожников, среди которых он провел всю свою сознательную жизнь.

Литературное творчество давно привлекало А. П. Колчанова. Еще в детские годы в начальном училище в Перми он участвовал в выпуске ученического литературного журнала, писал когда-то стихи. Но интересы его все больше сосредоточивались на деревенской и рабочей старине. Он многое записывал из того, что рассказывала ему мать. Писать, однако, начал лишь несколько лет назад, когда, проработав всю свою жизнь на железнодорожном транспорте, вышел на пенсию. Те повести и рассказы, что включены в настоящий сборник, должны, по мысли автора, стать частями большого произведения, посвященного оханской старине, над которым он уже давно и упорно работает.

Литературные интересы А. П. Колчанова сказались и на характере его произведений, и на его литературной манере. То, с чем встретится читатель этой книги, в значительной части представляет собой как бы рассказы современника о близких ему событиях и людях, хотя сам автор — человек более позднего поколения. В повестях

о крестьянской жизни («Голодные мужики», «Безземельные») автор, личность рассказчика (а повествование ведется именно как рассказ перед слушателями) почти сливается с литературными героями — это как бы один из них, взявшийся рассказать о судьбах или злоключениях своих товарищей в условиях полунищей деревенской России последних десятилетий XIX века. Почти то же происходит и в «железнодорожных» рассказах сборника. В языке автора привлекает его народность, глубокий аромат уральского говора конца прошлого столетия, его точность и выразительность при сжатости и порою информативности.

Большой жизненный опыт автора, великолепное знание материала, на основе которого строятся его произведения, владение фольклором, острое чутье языка, несомненный литературный талант помогли А. П. Колчанову создать ряд интересных повестей и рассказов. Не все они равноценны, не все в них в равной степени удалось автору. С тем вместе думается, что читатель с интересом познакомится с предлагаемым сборником и по достоинству оценит его.



ГОЛОДНЫЕ МУЖИКИ

Повесть

1.

От проливных дождей и сразу от жаркого солнца оханская земля залудела. Хлеб не уродился. Перемаявшись зиму, мужики из оханской деревни Усолье, человек двадцать, пошли ранней весной искать работу на стороне. Трактором они брели в Пермь, а были так худы, что за день больше тридцати верст пройти не могли. Кое-кто

не дотянул, отстал по дороге. Хлеб, испеченный с соломой, доели в первый же день. Просить было не у кого — все деревни кругом голодали.

Много лет спустя те мужики сами удивлялись:

— И как мы тогда до городу дошли? Чем кормились-то?

— Да Киршинными прибаутками.

И верно. Вспоминали мужики, как говорил им Кирша:

— Потерпи, робя, вон город видать, там я вас кренделями накормлю, ей-бо-пра! И работу добудем. Только не скисните, живы будем, — и начинал рассказывать на ходу: — Да рази это голод? Вторые сутки! Раз вот сам царь голодал. Да со всей семьей. Да целую неделю! Проснулась царица утром, самовар поставила, а к чаю хлеба нет. Царь не поверил ей, рассердился.

— Не ври, — говорит, — царица. Не зли меня. Мне и так нездоровится, поясница болит. Погляди в клетё как следует.

Та божится, крестится:

— Пра-ей-бо, — говорит, — царюшка-батюшка, нету хлеба и нету.

«Как так? — думает царь. — Неужели я себе и хлеба не запас нисколько?»

Сели они за стол пить чаек китайский с медом-сахаром одним, без хлебушка. А детишки ревут, хлеба им надо, мед-сахар в руки не берут, отталкивают.

Пришли министры с докладом. Царь на них не смотрит, задумался, головушку на руки опер. Как, думает, хлеба достать? Просить-то у купцов да у министров не хочет и не может по своему царскому величию и благородству. Должны они сами за тем следить и хлеб доставлять царю, сколь надо и вовремя.

Скашляли министры, царь голову поднял да как ухнет на них:

— Не лезьте ко мне, я еще не ел сегодня! И хлеба у меня нету!

Поразились министры, не поверили ему, поклонились и ушли; не стали на досаду лезть. Прошло еще сколь-то дней. Царь боится и домой идти. Ребята ревут, царица ругается. Унеси лешак и с жизнью такой! И пошел раз утречком царь сам на базар — хлеба купить. Взынул воротник повыше, натянул шапку на брови и выбрался из дворца задними дверями. Идет по улице, и вдруг из

одного дома хлебным запахом поднесло. А жил тут богатый купец, и утречком он за хлеб-соль садился.

— Здравствуй, почтенный, — промолвил царь, — пошел я поглядеть сам, как подданные — сытно ли живут.

Испугался купец и велел со стола хлеб-соль убрать, и оставить только меды-сахары одни.

Закричал царь с досады:

— Эх ты, купчина толстобрюхий! Не знаешь ты народную нужду и голод!

А что «не знаешь»? Кабы сам без хлеба не остался — небось, об мужике и не вспомнил бы.

Вот он выбежал на улицу и побрел, а сам озирается, где бы хлеба купить. Весь базар исходил — не нашел. Уж на обратном пути мужик ему попался, а за пазухой у него краюха хлеба торчит.

— Эй! — остановил царь мужика. — Что хошь возьми, продай мне краюху! Есть беда хочу, и жена с ребятами голодные. И никто мне не верит!

Ну, мужику податься некуда:

— На краюху, ешь! Да уж раз такое дело, домой стоняю. Есть у меня два пуда муки, доведется один пуд тебе привезти.

Царь краюху домой принес, поел, семью накормил. А тут мужик муку привез. Царица обрадела, квашню месит, хлеб печет. Увидели это министры и купцы и забеспокоились, что маху дали: как бы, дескать, царя с мужиком не стакнуть. И привезли они царю хлеба целые воза.

Царю-то батюшке с министрами да с купцами ссориться не гоже: ему с ними сподручнее. Вот и задал он им пир горой. С мужиком же валандаться не подходит, ну да и оттолкнуть-то сразу совесть убивает. И говорит царь мужику:

— Хотел я испытать только всех и тебя, а хлеба у меня — амбары ломаются. А за то, что ты мне отдал краюху хлеба, не пожалел, да пуд муки привез, даю я тебе хлеба целый мешок.

Пал мужик на колени перед царем и говорит в ответ:

— Спасибо, царь-батюшко. А чтобы ни тебе, ни мне больше не голодать и нужды в хлебе не иметь, стану я каждую весну тебе такую же краюху хлеба привозить. Как увидят меня министры да купцы, не захотят к тебе допустить — и снова навезут тебе хлеба полные амбары.

Обидно показалось царю:

— Царствую, царствую, а стану ждть мужика с краюхой хлеба! Где это видано? — Тут топнул он ногой да и распорядился: — Услать мужика за Урал-хребет, да подале, чтоб глаза не мозолил. Миловать его кажинный год такой краюхой, а остальное отбирать, ко мне в амбар доставлять.

Сердце разрывается, как сам батюшка-царь бился, голодал, пока не надоумился, где и как, у кого хлеб взять... А вы, шалопутные, одной неделки без еды не терпите!

У всех Киршиных приятелей животы подвело от голода, а они смеялись и потешались над царем и к вечеру добрались до города.

2.

Ну, а теперь где бы работу хоть какую добыть?

На счастье два дня кряду снег валил. Намело его с крышами наравне. Лавочники и домовладельцы поневоле взяли мужиков, и они с утра до вечера лопатами махали.

А Кирша с одним дружкой пошел в знакомую крендельную пекарню Мальцева. Мало находилось охотников месить тугое тесто руками. Да и Мальцев от скупости больше одного-двух человек не держал никогда. Кирше нужен был хороший припек, чтобы накормить голодных приятелей, и он пошел на хитрость.

Дождавшись ухода хозяина, Кирша со своим дружкой разулись и утоптали тесто ногами, да так, что Мальцев утром был доволен и кренделями и припеком:

— Сам бы ел, да денег надо.

Хозяин потирал руки, а Кирша накормил усолян этими кренделями досыта.

Но скоро Мальцев узнал о проделке Кирши и хотя не прогнал его, даже похвалил, но убавил плату до того, что и сам Кирша на ней не мог прокормиться.

Усоляне, убрав снег на дворах и дорогах, остались тоже без работы.

3.

Два дня бродили они по городу, туго подтянув опоясками животы.

— Эх, еще бы разок поел таких крендельков да и умер бы!

— Кабы мне бы сто рублей...

— Да хоть бы день один в богатстве прожить...

— Пусть бы не богато, да сыто.

Слушал, слушал их Кирша и рассказал им такую историю:

— Сами не знаете, робя, как бы с богатством справились, если бы оно к вам привалило. Жизнь наша из земли, как травка, выперла и к солнышку тянется, и много ей тепла надо. А как привалит тепло — сушить начнет, вода нужна, и никто никогда доволен не бывает. Ходил по нашим деревням нищий Серьга Лывенский. Долго он в своей жизни костоломил по чести-по совести, да не смог стать на ноги: надломил силу, заморил семью. Потерявши надежду на себя, возложил ее на бога да на лешака — стал под окнами куски просить. Не в натуре человеческой чужой хлеб есть, и наказывает природа таких людей жестоко. Скоро обленился Серьга до того, что когда привалило ему богатство, он ему не рад стал. А было это вот как.

Однажды он рыбу удил и вдруг вытащил ерша. Обрадовался Серьга, снял ерша с крючка, а ерш ему человеческим голосом сказал:

— Брось меня, Серьга, обратно в Очер-реку. А за это я тебе что хошь дам.

Опешил Серьга, да только и попросил, что ему брюхо подсказало:

— Ступай, ерш, раз так, да вместо себя насади мне на крючок настоящих ершей. Есть хочу.

Булькнул ерш в воде, и первые круги еще не потухли на реке, как стало клевать. Ерш за ершом. Сварил Серьга уху, наелся, разомлел и собрался только заснуть, как подошла к нему нищенка таборская Голубиха.

— Ой, Серьга, почто у те брюхо большое, чего ты так наелся?

— А мне, — отвечает Серьга, — ерш попал и обратно в Очер отпросился. Да других ершей мне на крючок насадил. Я уху сварил жирную, вот и наелся.

Всплеснула руками Голубиха:

— Дурак ты, Серьга! Ты бы денег просил у него, дом бы, скотину бы! Вот мы бы и зажили!

— Да я есть в ту пору хотел, ничего краше в уме не было.

Тут ерш нос из воды высунул и сказал им:

— Ступайте в деревню, будут вам и деньги, и дом, и скотина.

Побежали Серьга с Голубихой в деревню, а там и верно новый дом со службами стоит, на дворе скотина всякая, а в горнице, в сундуке — денег, так и не счесть.

Голубиха хлопочет: скотину кормит и поит, квашню месит, шаньги заводит и Серьгу гонит то за тем, то за другим. А ему лень за работу браться, отвык. «Эх, — думает, — как хорошо я до этого проклятого ерша жил. А теперь? Туда иди, сюда беги, за сеном поезжай, на мельницу зерно вези».

И лезет он на печку — поспать. А Голубиха его с печки тянет, кричит:

— Вези навоз в поле, ступай лошадей ковать!

Схватился Серьга за головушку:

— Нет, убегу я, куда глаза глядят убегу. Не жизнь — маята пришла. Как в раю раньше я жил: хозяйки мне в окно хлеб подавали, кваском поили, а в холод спать пускали. И ни о чем-то я не думал, не заботился.

Завыл Серьга, зарыдал и... проснулся. Сидит он у реки, и удочка из рук выпала. Никакой Голубихи, проклятой бабы, близко нет, скотина не мает, никуда ехать, торопиться не надо.

— Спасибо, — кричит Серьга в реку ершу, — спасибо, что ты мне ничего не дал!

Повернулся он на другой бок и снова заснул.

Так и каждый из нас по-своему счастье понимает и видит тоже.

4.

Рассуждая об этом, усоляне подошли к площади Черного рынка. На углу стоял дом купца Высоцкого. Вдруг из ворот раздался страшный грохот. Усоляне и горожане рты разинули: из двора сама по себе выехала огромная телега. В ней сидели двое мужчин и женщина.

Гремит телега, пытит, хлопает да и катит по широкой площади, вокруг.

— Это у нас первая втомобилля! — сказал какой-то знающий человек.

«Она краской только блестит, и дух из нее неживой — можно копеечку на хлеб зашибить!» — подумал Кирша. Он скинул армяк, домодельную войлочную шляпу. — Держи, робя! — и бросился бегом за машиной, обогнал, понесся перед ее носом.

Люди кричали:

— Не сдавай! Не сдавай! Жми! Ай да молодец! Держись! Держись!

Напрасно машина гудела. Дорога, уложенная булыжником, была узкая, рядом ларьки и лотки, между ними грязь и ухабы. Обогнать мужика негде.

Кирша уже сделал шесть кругов, а вот и семь, и восемь... Пот лил с него градом, он тяжело дышал, раскраснелся, вихры растрепались, оборы у лаптей распустились, портянки съехали, опояска скатилась, и кафтан надувался. Но Кирша бежал и бежал перед автомобилем.

Вот машина застреляла, задымила, остановилась. Народ сбился в круг, раздались торжествующие крики:

— Ура! Не выдержала! Запыхалась! Загнал ее парень!

— Во, глите сами, народ почтенной! Я бы хоть сколь, хоть до Москвы! Так она сама сдалась, ослабла, закашлялась! А мои ноги — ничего, во они! — Кирша все еще прыгал возле автомобиля, а у самого круга перед глазами плыли. К ногам его полетели медяки и серебрушки, а дама из машины кинула синенькую бумажку.

Кирша сразу повел артель в дешевую столовую да приговаривал:

— Ай да втомобиля! Спасибо ей. Эх, робя, думаешь-думаешь — жить нельзя, раздумаешь — еще можно!

5.

Прошла неделя. Деньги подходили к концу, а работы не находилось никакой. Тогда Кирша на последние копейки купил ломы, топоры, веревку, рогожные кули и повел свою ораву на Каму. И стали мужики лед колоть маленькими глыбами. Кирша побежал по лавкам и магазинам, стал купцам предлагать ледники набивать. Купцы подсчитали, что набить ледники без найма лошадей им куда выгоднее, и брали лед.

Но заработок был мал, а переноска льда с Камы на базар очень уж изнурительна, и обсушиться было негде. Мужики ночевали в вокзале да редко-редко на постоя-

лых дворах. Скоро они еле-еле стали волочить ноги и начали опять проклинать свою судьбу и все на свете.

В глухую холодную ночь, сидя среди насквозь промокших и продрогших оханцев в вокзале на полу, Кирша рассуждал:

— Ох робя, робя! Да рази это самое худое и трудное? Ей-бо-пра, нет! Нам к городу привыкать куда легче, чем, к примеру, городскому к деревенской жизни. Да особливо если человек до той поры был изнежен и высокого роду. Диву даешься иной раз, что на свете белом происходит! В одной нашей деревеньке около самого Казанского тракта жила девушка Марфа. Баская была, да беда — из немудренькой семьи. Имела она привычку кажинное утро к самому тракту, ко ключику умываться ходить. Однажды, утром же, проезжал мимо молодой князь. Дивовался он нашими местами и вдруг увидел Марфу. А она сидела себе и косу заплетала. Поразился князь, остановил карету, подбежал к Марфе, схватил ее за белые рученьки и говорит ей:

— Все края-земельки я изъездил, а такой красы не видывал нигде. Терпенья нет мне, веди, кажи, где ты живешь, чья ты доченька есть?

Марфа вздрогнула сперва, а ведь неробкая была, скоро осмелела, да и отвечает ему:

— А вот она и наша изба-хорома, без тына-огорода, без светлиц и стаек.

Ну, князюшко за ней, туды, не отстают. А свита его и дядька за ним да и теребят:

— Не туды, мол, князюшко, ты забрел. Вон каретка золоченая, айда отсель.

Но князюшко упрямый был.

— С местичка, — говорит, — не тронусь, никуды, — говорит, — не пойду, не поеду. Здесь я счастье нашел и сердце отдал. Айдайте, проваливайте дальше, одни себе.

Протурил он свиту в Петербург, а сам остался с Марфой. Та отговаривалась всяко, да недолго тоже. И когда князюшко к попику ее привел, так и стала она княгиней. А денег свита много ему не оставила, и скоро молодые сели тестю на шею, и самим надо стало все робить. И привелось князюшку есть наш деревенский хлебушко. Пучит его, живот режет ему, а жует. В избе тесно, а теща сначала и не любила зятька. То ухватом его заденет, то

кочергой ненароком, на все ворчала, ругалась. Жалела она Егорка суседского, его в зятки себе метила. А князя не ждала, не любила и ворчала. А Егорко Марфу тоже жалел да на князя злился, ждал случая, где бы тому бока измять. Так и караулил. Пойдет князюшко на двор, а Егорко уж тут и с кулаками лезет. Марфа так и ходила да мужем своим, ни на шаг не отставала. И как Егорко на князюшка нажмет, она на Егорка насядет. А здоровая была — беда — и справлялась с Егорком. Тем только и спасался князюшко. Как же ему, бедному, жилось! Хуже некуда. Не то что нам, а все сносил.

— Айда-ко, зятюшко, на мельницу муку молоть.

А у него и руки не поднимаются.

— Айда-ко, зятюшко, глину топтать — печь новую к зиме бить надо.

А у него ноженки не волочатся. Страданье настало ему. И не раз, и не два он плакивал, но ничего, терпел. Не то что вы!

Скоро сердце старого князя-отца стосковалось. Шлет он свиту в деревню и велит сына доставить в Питер, а жену его Марфу в монастырь заточить.

Но молодой князюшко не сдается.

— Нет, — говорит, — пусть отец меня вместе с Марфуткой возьмет. Тогда я поеду. Один ни за что!

А сам ходит уже в синих портках да в посконном во всем — с тестева плеча. Каково ему было!

И вот времячко дальше идет, князюшко в новой жизни обывать стал. Особливо после того, как однажды его уловил на дворе Егорко, а Марфа проглядела. И сцепились они за грудки. Ходят туды и сюды, а повалить ни который никого не может. И тут почувял князюшко, что ни в чем не уступает Егорку. Тот его мнет всяко и обзывает, и князюшко в ответ мнет Егорка да еще пуще обзывает.

Егорко его позорит:

— Худородный ты человек, а не князь! Вот ты кто! — и хочет его подплетнуть.

— Сукин ты сын! Вот ты кто! — отвечает ему князюшко и сам хочет тоже Егорка подсесть.

— Все равно твой отец заставит тебя Марфу бросить. И будет она моя! — и Егорко двинул князюшка по загривку.

— Никогда! Марфа моя и моей будет. Не разлучит нас ни отец, ни месяц, ни луна! — и князюшко сунул Егорка кулаком под самую душу.

Так они ходили да жали друг друга, пока у Марфы сердце не екнуло: хватилась мужа. Выбежала и разогнала ребят, что петухов.

Но вот сам старый князь прикатил в карете в ту деревню. И прямо зашел в избу, которую свита указала ему. Дело было уже в потемках. Князюшко с Марфой спать на полатах улеглись, а старики на печи.

Князь-отец велит свите огонек засветить да нести из кареты розги. И приказывает он сынка с женой с полатей снять и подать ему. Спрыгнула тут Марфа с полатей сама, протянула свои белые рученьки ко князю-отцу и пала на колени перед ним.

— Батюшко родимый! Не тронь моего князюшка. Не виновен он, а я одна.

Ох, робя! Ежели бы в то время видели ее! Была она, что херувим на иконе в добрых церквах. Старый князь глаз не спускал с нее и язык проглотул. Тут и сынок его встал рядом, и старики тоже с печи слезли. Сел отец-князь за стол, уронил голову на рвки, увел глаза куда-то в угол, в темень. Что он думал? Никому неизвестно.

Отец Марфы и говорит:

— Слышь-ко, князь, ваше сиятельство. Здря ты жизнью молодую ладишь разбить. Жили мы, а ты сейчас силен всех нас раздавить, что тараканов. А почто? Сынка твоего никто из нас ровно не обидел. Пра! Оставь-ко нас. Сделай милость. Сынка твоего мы уж приучили. Послушный он да и старательный, а в твоих руках кем бы стал, еще то неведомо.

Старуха подхватила:

— Лешак тебя ровно из облачка выбросил. Мы уж спать улеглись, а ты... И чё те надо? Хлеб у нас ноне, слава богу, есть. И любим мы зятенька своего. И обык он с нами. И ладно. Так ты нарушить нашу жизнь захотел.

Тут молодой князюшко — жалко ему и тещу да и всех — вскипел и зашумел:

— Да ежели вы... Да я тогда!

Но тесть не дал ему дальше злые слова говорить:

— Цыц ты! Сопляк! Смеешь ты со старым отцом так баять! Да я те шкуру спущу. Мо-отри у меня!

Зятек и умолк, а теща его в спину турнула:

— Не суй-ко нос-от куды не спрашивают. Старики лучше тебя разберут все. Худой умок ты. Я те-ебе!

Старый князь глазам и ушам не верил. Больно уж просто мужики с ним разговоры разговаривают. Вот он тут и заскрипел:

— Косу ей отсеките! Тело ее исстегайте!

Князь так думал: красоту баба потеряет — сын отвернется от такой. А молодой князь припал к ней, целует:

— Ты еще мне милее стала!

Захрипел в запале старый князь:

— Порите и его!

Слуги не опомнились:

— Как?! Дворянина?! Князюшка?! Слыхом не слыхано!

А старый князь суров:

— Честь он в назём угрузил. Пусть смое!

Сын не стонал.

— Снесите его в мою карету. Поехали!

Тут молодой князь сам с земли поднялся. Взял он свою Марфу на руки и унес с собой в отцову карету.

Покатились слезы из глаз у всех да и у самого старого князя. Видать, не любовь молодых надломилась, а гордыня князева, что палила душу, сломилась. Махнул он рукой:

— Там лекаря им раны заживят, а краса-коса у доченьки снова отрастет.

Обнял он тут и свата, и сватью на прощанье и ускакал.

Так вот как молодой князюшко в любви своей был тверд и настойчив и как он все переносил на пути своем. А вы и маленько не можете потерпеть сырости да холоду.

Мужики снова принимались за работу.

6.

Вечером одним после рубки льда шли по городу усольяне — ночлег искали. Подошли они к магазину Агафурова на Торговой улице и увидели: народ толпится. Пробылись поближе к дверям, смотрят: на табуретке стоит ящик с широкой трубой, а приказчик ручку какую-то у него крутит. И запоет в трубе то один голос, то целый хор сразу. Это граммофон был — небывалая штука.

Вместе со всеми и наши мужики заслушались, загляделись на него. И вдруг из трубы грянула «Барыня». Весь народ зашевелил плечами, запритаптывал, заподсвистывал, заподухивал.

— И-эх-ма! — гаркнул Кирша, закинул полы кафтана под мышки, заломил шляпу и пошел перед граммофоном в лихой присядке да с хохотком. Через минуту остановился он, замолчал, замер как был с откинутой головой, но готовый топнуть, ухнуть снова.

— Давай, миляга, давай! — кричали из толпы, и полетели под ноги Кирше алтыны и семишники.

— Давай, пожалуйста, давай! — теребил его за кафтан приказчик, а сам трешку ему кинул.

И Кирша снова пошел не только по зову голодного брюха, но и от любви к веселью, к жизни.

Вот уж пять раз заводил приказчик «Барыню», а Кирша все наяривал и наяривал.

— Рой землю! — кричали усоляне. — Никакой лешак его у нас не перепляшет!

И Кирша плясал, пока приказчик не остановил завод — иголок не хватило.

Кирша еще раз на всю улицу ухнул:

Бывали дни веселые,
По десять дней не ел.
Не от того, что хлеба не было,
А потому, что не хотел!

Его качали на руках.

— Вишь, робя, не мытьем, так катаньем, а мы свое возьмем. Вот и опять нам хлеб. Жизнь тебя давит, а ты ей не давайся! — веселился Кирша, отдавая друзьям деньги на хлеб и воблу.

7.

На другой день после работы Кирша опять повел свою артель на Черный рынок. И там перед окнами богатого ресторана Сахарова завел он своим хриплым голосом:

Анюшенька черноброва,
Был вечер я у тебя...

Промокшие, озябшие мужики дружно подхватили, заглушили звуки рояля и скрипки. Подгулявшие посетители ресторана завалили их деньгами, обнимали, целовали и тащили за собой в зал к столикам.

Сахаров не знал, что и делать. У него были наняты цыгане, а теперь им хоть расчет давай. Тогда он предложил мужикам отступного. Но Кирша знал, что это счастье им ненадолго, и отказался от отступного. Сытые, пьяные усояне только утром ушли из ресторана.

Лешак их толкнул сунуться в этот вертеп и на другой день!

Хозяин с цыганами решил отвадить мужиков. Едва они пропели песню-другую, как гуляки ресторанные стали хлопать себя по карманам — нету денег, часов.

Прислуга нашла эти вещи у мужиков в котомках. Пьяницы оттрепали усоян, а полиция заграбастала их в часть. Там у них выколотили все деньги до копейки.

Кирша понял, что никакие разговоры о правде не помогут. Тут уже лучше жуликами представиться, виду не подавать, что заробленных денег жалко. Полиции милее и доходнее иметь дело с жуликами, чем с мужиками.

Хватил Кирша домодельную войлочную шляпу об пол и заюлил:

— Господин околоточный, не без души же вы люди, слава тебе господи, и не задавите, если мы откроемся вам. Жить надо как-то, ну мы и решили идти по пивным и ресторанам петь, плясать, ну и того... что под руку попадет. А только мы понимаем и согласны вам быть благодарными. Не тесните нас.

Околоточный как с иголки соскочил:

— Ах вы ворюги! Так что же вы прикидываетесь сермяжными невинками! — Он кричал, топал, тыкал мужиков в грудь, разорвал протоколы, сгреб деньги в стол и выгнал мужиков на улицу.

8.

Весной в том месте, где Егошиха впадает в Каму, нашел Кирша старый шитик, и устроили под ним усояне жильё. Устлали сырую землю обломками коры, выложили у входа очаг из камня. Тут они сушили одежду и спали.

Мужики толковали:

— Ну, нашли дом-хорому и что нам в жизни надо? Ровно ничего больше.

— Ну, нет! Надо домой бежать и хлеб как-то посеять.

— Это первое дело. Верно ведь, Кирша, али нет?



— Маленько верно, маленько нет. Оно не так бы надо. А как? Слушайте, расскажу. Сегодня во сне увидел. Прибежал я будто домой да схватил там старшину нашего. Вытащил я его на дорогу, пинал и гнал все туда за Очер, за Каму, далеко, чтоб он и дороги не нашел обратно к нам. Пра-ей-бо, робя! Пинал я его, и ноженка моя устали не знала. Потом будто бы я за старостой вернулся. Потом еще кое за кем. — Кирша вскочил на ноги и под хохот мужиков показал, как он пинал ненавистных людей. — Опосля того мы сеять с вами стали. Земли вдосталь нам хватило. На этом месте я от радости проснулся.

Смеялись мужики, а на сердце кошки скребли. Не нужны они дома без денег. Собрали от силы по пятерке и послали с одним парнем родным на семена.

Теперь грузили барку мокросолеными шкурами. Изъело все тело. Одежонка просолилась, разило от нее. А сами рады:

— Все работа. Слава богу!

— Кончается милая.

— Опять голодать. У меня совсем гашник ослабел.

— А меня туды-сюды турит.

Работать стали порознь, кто где что найдет, а вечерами собирались на берегу под шитиком.

9.

Поступил Кирша в больницу в отделение душевнобольных. Что и говорить — работа добрая. Надел халат и знает только: подмести, подтереть. За больным убирать — ни обидного, ни зазорного ничего в том нет. И кормят как! И дружкам приносил хлеба и каши. От чистого сердца их подкармливал. Ему и в ум не падало, что приносит чужую еду.

Однажды больные закричали, заревели. Служители побежали к ним с простынями. А в простынях было что-то кучное. «Видно, связывают!» — у Кирши сжалось сердце.

Скоро в палате стало тихо. Не утерпел Кирша, взглянул туда. Больные жались к стенам и с ужасом глядели на служителей. Трое больных лежали на полу ничком, раскинув руки.

— Чисто? А? Чистехонько! — рассмеялся один служи-

тель, обернувшись к Кирше. — Ни тебе синяка, ни тебе пятнышка али царапины. И врач не придерется. Да и хлеба с кашей нам больше достанется. Учись, мужик!

— Чего это? — Кирша нагнулся, пощупал. В простынях узлами была завернута соль. — Окаянные! — взревел Кирша и скинул халат. — И где такие люди берутся злые и как они рождаются?

Страх забирал усолян:

— Наверно, никогда людям от зла не избавиться!

— Неправда. Средство верное есть, а дело за порой.

И Кирша рассказал:

— Они, такие люди, мухам сродни. Много веков мучился и думал человек: откуда и как мухи заводятся. И как, думал, пакость эту вывести на белом свете. И увидел: на дворе назьму полным-полно. Копнул человек тот навоз, а в нем несчетные мушиные гнезда. И в первый раз глянул человек дальше, через тын свой, на мир: кругом и везде — навоз, а над ним мушиные рои затемнили свет. «Батюшки! — хватился человек. — Так вот где и в чем все горе мое и потрава мне! Вся жизнь назьмом облеклась, а от него паразиты тянутся к телу моему, ко хлебу, к жилью. Извести норовят, да не быть тому. Как ни трудна, ни тяжела работа, а надо чистить двор и все округ, вывозить навоз и сжигать его. Огонь только и очистит жизнь мою».

И вот сбирается он, копит силу, лопату делает, метлу вижет. А как дальше будет, видно будет.

10.

Немало пробродил Кирша по городу и нанялся пожарником. Пять дней его обучали и тогда только выдали форменную одежду. Жалованье казна отваливала раз в месяц, и Кирша скрипел зубами.

Однажды загорелся большой дом с магазином. Кирша и давай со всем усердием тушить там, где огонь угрожал другому дому.

— Ты что делаешь?

Брандмейстер налетел злой, а уж жирный до того, что шквы не вмещаются в голенища.

— Куда льешь, телепень? Марш за мной! Лей на эту стену!

— Да сюды, ваше благородье, огонь не полыхает.

— Я тебе полыхну! Лей! — погрозил пудовым кулачищем и ушел.

— Да он рехнулся, пра-ей-бо! — и кинулся Кирша обратно, стал пальмо заливать, где по совести и надо.

Вдруг кто-то огрел его по самому льну. Мотался-мотался Кирша, чуть на ногах удержался.

— Прогнать с-сукиного сына вон! — брандмейстер тряс пальцы: зашиб о Киршину шею.

Двое услужливых пожарных вытолкали Киршу из команды.

Народу набежало много. Люди смеялись и спорили:

— И этот дом загорается!

— И тот! И вон эти! Все сгорят!

— Не сгорят!

— Ей-бо, сгорят!

— Красивое зрелище!

— Замечательное!

Кирша понять не мог: в деревне пожар — беда. И все помогают, тушат кто чем. Горюют, соболезнуют. А тут...

— Ну и ловко! Какие деньги огребет купчина!

— Все застраховано!

— А подготовлено как! Любо глядеть! Эти пожарники давно ни черта не делают. Не спешат.

— Тут все давно куплено-продано.

— И бранд-от мейстер настропален. Ишь, закури-вает!

...У костра возле шитика Кирша веселил мужиков, у которых дела шли еще хуже, чем у него.

— Не туды я воду лил, ну и не уноровил, по шее получил. Не воспринял я науку от губернатора нашего господина Кошки. А тот знал, куды воду лить, ну и не только не обанкрутился, а в гору пошел. Только и ему для виду по шее тоже съездили.

А дело было так. Кажинный год чего-нибудь получалось в нашей губернии: то засуха хлеб губит, то холера народ морит. Оттого налогов и податей губернатор и мало собирал. А хоть и соберет он, к примеру, столько-то, да отсеки руки по локоть, кто себе не волокет. Должен же он себе сапоги новые или подкладку для мундира завести да и губернаторше своей на булавки и гребешки дать. После этого для казны одни злыдни остаются. Царь за это на губернатора беда как злился:

— Я тебе, Кошка, хребет сломаю, шею сверну, глаза выколю!

Царь так царь — стесняться не станет. Оробел было губернатор наш, голову повесил, да додумался. Объявляет он приказ по губернии: собирать с каждой подушной головы, кроме налога и податей, сверх того еще по рублю.

Взвыл народ:

— Куды столь?

— Молчать! Царю коней ковать надо.

Собрал все подати да налоги губернатор. Первым делом часы себе новые Буре завел, губернаторше своей прямо из Парижа модную прошву заказал. Ну, в казну отдать пришлось ему не ахти как много.

За отменно малую сдачу денег в казну царь из себя вышел и для примера остальным губернаторам съездил своим святым кулаком по Кошкиной окаянной шее так, что тот с губернаторского места слетел. Но тут же, повернувшись, царь увидел пять тыщ рубликов, присланных ему коней ковать, обрадел и опять же для примера всем похвалил:

— Молодец ты у меня, Кошка!

И назначил Кошку еще выше прежнего — в сенат.

11.

— Вот, робя, где она, работушка-то!

— Да-а. Мрет народ от такой сытой жизни.

— А заработок здесь, видать, вальяжный будет.

Усоляне копали могилы на кладбище. Сюда они завернули, не найдя работы в городе. Их сразу завалили заказами. Не успеют выкопать, а уж новый заказ:

— И нам могилку, молодцы, поспешите.

В ожидании покойников и платы за могилы мужики копали еще и еще. А когда вернулись к первым могилам, на них были насыпаны свежие холмики и поставлены кресты.

Родня покойников возмутилась, когда мужики деньги потребовали:

— Вы кто такие? Есть тут главный могильщик. Он с нас деньги взял. Этот, который рыжий.

Кинулись усоляне к последним могилам, и там уже комья стучали о гробы.

И опять родня покойников на мужиков напустилась:
— Рыжий деньги получил! А вы кто такие? Вымогатели! Где тут постовой?

Мужики от греха подальше — скорей за ворота. Там их поймал рыжий.

— Живыми сюда не кажитесь! Хлеб отбивать? Сами еле кормимся. Вдругорядь не так проучим!

Мужики о полы кафтанов руками хлопали:

— Будь оно проклято!

— Провались все на свете!

— За что день провели?

— Не падай духом, робя! — сдохотнул Кирша. — Глядите, какие Макся и Лушка из Тужиловки неутлые. Много годов у них хлеб не родился, и Макся стал торговать. А таланту к тому ни в ноге, ни в руке, ни повыше того у Макси не было. Встречает его жена:

— С барышом ли, Максенька?

— А и убытку нету, Лушенька.

— Да как ты сумел, Максенька?

— Почем купил, потом и продал, Лушенька.

— А боле и не надобно, Максенька.

— Куды с добром, Лушенька.

12.

Кирша нашел место на собачьем дворе. Ездил он по городу, сеткой ловил собак без ошейников.

Вечерами он возвращался к шитику и приносил полную котомку хлеба, рассказывал:

— Накроешь собачку, а куфарка тебе гривенник сует али хлеба булку. И сама ревет, и собака воет: отпусти-и! Ну, ступай, да не кусайся только.

Но вот раз он пришел на берег с бесхвостой дворняжкой.

— Али, Кирша, подругу завел?

— Собачья смерть ты, а за тобой собака вьется? Как же так-то?

— Молчи, робя! Не порите мое сердце, и без того обидно. У-у, окаянная! Из-за тебя места лишился.

Собака виляла обрубком хвоста, лизала Кирше руки и тихонько скулила.

— Увидал я ее на каком-то углу. А она и не бежит от меня, припала и руку лижет да глядит, как человек.

Иду на собачий двор, а сам не оторвусь, гляжу на нее в клетке, а она все скулит и скулит, ровно об нужде какой валуется мне. На дворе я ее выпустил: беги, мол, не надевай моего больного сердца. Сам как собака живу. А она вьется около, лижет руки да скулит. Дал ей хлеба, сожрала, не бежит. Старший придрался: «Почему у тебя собака без ошейника тут?» — Да, — говорю, — она не опасная. — «Как знаешь? Может, чумная?» — Нет, — отвечаю, — хвост у нее рубленый, значит, безопасная. — А сам не знаю, правда ли это. Слыхивал у кого-то где-то. — «Накрой ее да в клетку! Сейчас, мотри!» — заорал старший... Ка-ак она тут хватит его, полштанины отмахнула. Спасибо, зубами не изъязвила, беда бы была и ей и мне. А то только со двора согнали к семи лешакам.

13.

Без надежды особенной зашел оборванный и грязный Кирша в магазин «Эпфельбаум и сыновья». Хозяин его в двери не пустил. Но Кирша лапоть в дверь сунул:

— Нет ли работенки, хозяин? О цене не спорю.

Вот тут хозяин присмотрелся и предложил:

— Есть дело, да такое, за которое честный человек постыдится и плату просить. Сидельца мне надо. У ворот седи, знай. Сбегаешь, куда пошлют, и седи. Дров наколешь, седи. В комнаты дров наносишь, седи. Печки истопишь, седи. Двор подметешь, опять седи. Не работа, а прохлада. Больше трех рублей в месяц и не дам за это.

— Ладно, — вздохнул Кирша, — стану сидеть.

Потом он рассказывал дружкам:

— За неделю три пары лаптей износил, четвертую купил. Вот как сидеть мне пришлось у ворот купецких! А потом выкинул хозяин полтину и сказал: ступай давай откель приплыл. Жена-де и дети пугаются виду твоего звероподобного. Спорить я не стал, пожелал ему всяких успехов в торговле и притворил за собой двери.

14.

За Казанской заставой на дворе коннозаводчика Габова, у конюшни под навесом, каталась и билась лошадь. Она то поднимала голову от пола, то снова вытягивала морду. Ветеринар ей вливал снадобья в пасть, конюхи и кучера толпились вокруг и охали, а сам Габов кричал:

— Сгубили, подлецы, мне коня! Тыщу стоит! Закатаю в тюрьму!

Кирша с приятелями зашел сюда в поисках работы. Стояли они, соболезновали. Кто-то из них и сказал:

— Вот бы нашу бабушку Васиху сюда! У нее молитовка верная. А эти дохтура только хлеб едят.

Габов подскочил к усолянам:

— А где эта бабушка-матушка?

И вдруг Кирша заявил:

— А что бабушка! Рази на свете одна бабушка может? И другие есть, почище ее... Видать, у коня закожурница. Ноготь у него.

— Неужто? — изумился Габов и все остальные. — Так ты, милой, толкуешь в этом деле? А? Озолочу! Угощенье поставлю! Ничего не пожалею!

— Сколь я их на ноги поставил! Плюнуть раз... Айда, робя, домой. Не наше тут страдает. Дохтура тут.

— В ножки паду! Что хошь бери! Пособи лошадь поднять!

Кирша подумал: «Э, была не была», снял шляпу, перекрестился и загнузил над ведром с водой:

Из-под луны господней
Едут Фрол и Лавр,
Лошади соловы,
Седелки златы.
Пособите, помогите мне
Отогнать от гнедой лошади
Двенадцать ногтей
Из семижды семи жил,
Из семижды семи суставов.
Закожурный ноготь,
Сердечный, запаношной,
Костяной да жиленной,
Мозговой, кровяной...
Давали ногтям они по сотне ударов
И послали их во темные леса,
Во стоячие болота.
Там бы они шатались, болтались,
К лошадушке не приступались...

Трижды протянул Кирша эту молитовку и после каждого раза обливал той водою всю лошадь, а с руки отдельно брызгал ей на морду.

И уж что тут сделалось, трудно сказать, только лошадь перевалилась на другой бок, вытянула ноги и притихла. Да вдруг прыснула и раз, и два, и три. И стала

подниматься на ноги. Потом отряхнулась и пошла по двору, да все веселей, да все выше голову поднимала. Вот вид быстро затопала по мосткам в конюшню и стала тыкаться мордой в решетчатую кормушку.

— Слава богу! — со слезой сказал Габов.

— Слава богу! — загудели конюхи и кучера.

— Ну и Кирша! — заперешептывались усоляне.

— Золотой ты человек! — Габов хлопнул его по плечу. — А не можешь ли ты мне и другую лошадь поправить? Хорошая — беда, а когда бежит, у нее в брюхе: ур, ур, ур...

— А это у нее сенёк играет, — не моргнув глазом, ответил Кирша. — Опосля когда-нибудь можно будет и поправить.

Вместо обещанного золота Габов велел Киршу щами накормить.

15.

Неприветливо встретили Киршу дворники, конюхи, кучера габовские. Они все земляки были и норовили заработок у Габова не выпускать дальше своих же людей, а Кирша хотел втянуть на двор своих мужиков.

Через несколько дней Габов позвал к себе Киршу и стал просить его согнать чирий, который сел ему ниже спины в узком месте.

— Отчего мне такая ужась прилепилась?

— Да с глазу, — ухватился Кирша, — вот у твоих конюхов, особливо у Ермошки, глаз с навесом. Знай и ведай: он и грыжу тебе подвесит. Ох, он и хитрый. Кй-бо-пра.

— Насчет хитрости — она в тебе пуще иных стоит.

— Да моя, если и есть, на пользу тебе, а евонная тебе в самочку села. Носи, не двигайся. А я согнать могу, черед денек и не будет, и вперед побоится на то место садиться.

Нашел Кирша в полу сук, поставил хозяина около него на четвереньки, да и стал гнусавить:

Как во сухом дереве сук сохнет,
Так у раба божья Ивана чирей бы сох...

Больше ничего придумать Кирша не мог, чуть снова не упомянул семижды семь жил и суставов, да во время удержался. На третий раз парень своим крепким ногтем

резанул по назревшему месту. Взвыл Габов, но не успел Киршу пнуть. А потом стал хвалить:

— Дохтур бы ножом порол, а ты... ну и золотой! И уродятся же такие головы на свете.

Прогнал Габов всех вятских. И таким-то образом Кирша втянул свою артель на конный двор.

16.

Побродив сколько-то дней в городе без работы, вятские вернулись и стали толпиться, вертеться около конного двора. Усоляне видели их и чуяли себя беда неловко: спихнули ведь людей с места из-за жратвы.

Ермошка подходил к Кирше:

— Вы, робя, недалние и скорей нас где огорюете себе работу. Рассчитайтесь с добра. У нас есть нечего. До Вятки маху много, а вам до дому рукой подать.

Да где сразу мужики с работы уйти решатся!

Меж тем Габов покою не давал:

— Лечи, Кирша, лошадь-то от уркотни. Обещал ведь. А парень, зная, что раз на раз не приходится, все оттягивал:

— Да погода, хозяин, какая-то не такая.

— Не мели, бес. Погода и лошадь...

— Ага! Не на самую лошадь, а на болесьть ее.

— Не юли, варнак!

— А какой седни день, хозяин?

— Вторник.

— Э-э! Лошадей-то лечат по понедельникам, господин хозяин.

— Это где же сказано?

— А везде. В святцах, в еванделе. Особливо в черных книжках у кержакэв. Пра-ей-бо! Фрол и Лавр только по понедельникам лошадок исцеляют. Луна чтоб полная светила им, они и едут. А чуть луна в облака, они назад поворачивают. Беда, какие прекосливые они.

Но лошадь не дождалась понедельника, в пятницу пала. Ермошка тут как тут, кричит:

— Это они, хозяин, ее потную опоили! Какой изъян твоему добру! Гони их в шею!

Тут как на беду все лошади вдруг зауросили. Вывели их на проминку, а обратно в стойла они не идут, упираются. Их за узду тянут, веревками под зад, а все, хоть убей, напрасно.

Ермошка вьюном крутится:

— Гли, хозяин, чего эти идолы с твоими стойлами сотворили!

Он подскочил к косяку и выковырнул из щели медвежий коготь.

— Вон как заразили! А иные косяки медвежьим садом намазали. А конь — божья тварь, чует и остерегается. Гони ты их бадагом!

Вавыл Габов:

— Что наделали, окаянные!

Ну, пропали усоляне! Хватай котомки и айда — куда, не знаю!

Но Кирша опять свою шляпу оземь:

— Хозяин, неужто ты столь беспрошный? Мы у те робим, так почто станем тебе изъян наносить, себе яму рыть? В уме ли ты? А вятские хоть какие ни хватские, я никак козни нарушу. Недаром я столь годов обучался всяким наукам. Раз счихну — и вся! Бери, нашинские, лошадей за узды!

Кирша подскочил к косяку стойла, сморкнул в кулак и растер на косяке. Подбежал к другому, опять сморкнул и размазал.

— Заводи, робя!

Лошади сами вбежали в стойла. Победа была полная, но Кирша крикнул:

— Это что! Ты, господин хозяин, пощупай-ко у себя во стоках. Не сунул ли Ермошка туды медвежий коготь?

Габов схватился за свой зад.

— Ровно бы бог миловал.

— А ты пуще щупай. Вишь, он, злодей, крутится около тебя.

— Ой! И то! Зудится у меня!

— Ну и сгальники вы, вятские! Извели хозяина! Ужасты какие!

— Долой со двора, рестанты! — бесновался Габов, топал, махался. — Вон!

— Вон! Вам говорят! — закричали вятские.

— Нет, вам! — закричали усоляне.

И сцепились. Дрались по-крестьянски — кулаками, не душевредно. И не дрались, а ума давали друг другу.

Было ясно, что осият те, кто эти дни ел досыта. Ну, вятские и оказались за воротами. Они еще с той стороны

улицы помахали кулаками, побранились, да недолго. Чего зря базланить, скорей надо работу искать.

Вот ведь до чего кусок хлеба доводит!

17.

Не прошло и недели, грянула беда. С конного двора ночью увели двух жеребых кобылиц. Габов ревел от горя и дрался от злобы.

— Засужу, конокрады!

Полиция сграбастала и оханских, и вятских. Когда их всех вместе заперли в холодной, они заныли:

— Забыли мы бога! За грехи покарал!

— За непослушание родителей!

— В постные дни молосного поели!

Слушал, слушал их Кирша и разозлился:

— Дураки! Олухи! Не в том месте несчастье видите! Каки у вас грехи? Когда вы не слушались родителей? Сколько завязло в зубах ваших молосного? Бороды отрастили, а не смекаете, кто молится и зачем! Воры и жулики вам глаза отводят, а вы и рады стараться! Чужие молитвы твердить! Вороны! А я сызмальства догадался. Научила меня тому шинкарка Копна́ из Тужиловки. Жадная была до того, что мало ей было все отнять у людей, еще и на себя напялить надо было. Оттого и Копной ее звали. Носила на голове десять платков, на теле десять кофт и юбок, сверху две шубы да еще поддевки. Натянула бы еще, да уж некуда. Даст бабе муки на квашню, после обратно полмешка заберет, не то одежду унесет, барана угонит. Споить мужика четвертак ей обходится. Придет в себя мужик — весь раздет да еще из дому добавить надо.

— Грешные вы, грешные, не постились, вот вас бог и наказал! — твердит им Копна, забирая добро.

А они ревут от горя:

— Верно, Копна, грешные мы, сатана попутал, бог наказал.

С помощью божьей разорила она кошкодава Зосима. Развела Копна кошек у себя в стае. Не кормила: кошки живучие. Осенью выпустила их в поле кормиться полевками и пичугами. К морозам кошки с большим приплодом обратно в стаю прибежали.

В то время Зосим появился и ну кричать:

— Ложки меняю на кошки! Ложки меняю на кошки!

Тогда Копна бросила своим кошкам еду со снадобьем, они от него и стали как пропащие. А чтобы Зосим не убил их сам, Копна умоляла:

— Ради всех святых, Зосимушко, не хлещи ангелочков моих о прясла! На себя я взяла грех — представила их праведные душеньки на тот свет, да и мех зря не порти. А меня, бедную сиротинушку, не обидь, по четыре ложки за кошку дай. Господь тебе невидимо воздаст сторицей.

— По две хватит.

— Бог тебя накажет! Четыре!

— Ладно, — три. На!

Зосим закинул сотню кошек в сани под рогожу, отсчитал триста ложек. Копна мигом их запрятала. А кошкодав, проехав саженой сто, видит — в санях ни одной кошки нет, резбежались, очухавшись. У Зосима лопнула надежда быть с семьей в эту зиму сытыми. Схватил он полено и кинулся на Копну — конец жулябии!

Но не тут-то было. Копна на коленях слезно молится:

— Бог тебя наказал, Зосимушко. В родительский день не помянул ты отца с матерью.

Зосим глаза вытаращил, уши развесил, рот раскрыл. Полено из рук выпало. Завыл, как и вы, дураки:

— И то правда, не помянул я, грешник, ноне покойников!

Вспомнил я про это, когда нас заарестовали, со двора повели, а Габов на колени пал и руки в небо уставил:

— Отпусти, господи, прегрешения им! Дай им отмолить обиды мои!

Отмолить! Во! Нету пользы ему в тюрьму нас засадить. С нас нечего содрать да на себя напялить. Польза ему — поморить, согнуть нас здесь да с помощью молитовки и полиции заставить отработать ему бесплатно цену тех лошадей. Плюньте мне в глаза, когда не так! Чтобы прибавить себе капиталу, он сам лошадей упрягал.

Закричали мужики:

— Да что ты, Кирша!

— Сам у себя увел?!

— Сам! И кругом ему прибыль получается!

— Выручай нас, Кирилл Матвеевич, из беды!

— Аблаката нанять нам немислимо. Попа рази при-
звать?

Поднялся с пола Яранин, вятский:

— А может, вместе с хозяином хочешь обмотать нас
вокруг пальца? Кто тебя знает!

Обомлели все от такого поворота дела, а у Кирши пот
на лбу проступил. Яранин свое твердит:

— Сказывай нам, что ты знаешь.

Мужики загалдели:

— Чего пристал?

— Не толкай на сумление!

Повскакали мужики, разделились: вятские за своим
вожаком, уоляне — за Киршей сгрудились.

Яранин подошел к двери, постучал. Открылось очко.

— Правды ради, господин, как тебя? Приведи при-
става либо сам знаешь кого. Тут объявились знающие
в нашем деле, — Яранин уставил палец на Киршу. —
Молчит, не говорит, а что-то знает.

— Ха, Яранин... На край пропасти меня поставил...
А ведь, пожалуй, ладно! — он хлопнул себя по лбу. —
Шевели мозгой, Кирюха!.. Не ссорьтесь, мужики, ку-
лаки не сжимайте. Не бойсь, робя! Живы будем — не
помрем!

18.

Привели Киршу к приставу. Тот рявкнул:

— Чего надо? Бока чешутся?

— Мне, ваше высокородье, хозяина нашего сюда бы
призвать да с глазу на глаз с ним потолковать.

— О чем?

— Надоумить его насчет кобылиц и положить конец
мученью нашему.

Пристав уставился на Киршу и опять рявкнул:

— Я здесь государем императором поставлен и дол-
жен все знать первый! Говори!

— Только хозяину могу, а вы в сторонке пока.

Разъярился пристав, норовил кулаком до Кирши до-
стать, а потом велел посадить его одного и хлеб давать
через день.

Шесть дней морили мужика. Боялся Кирша, кабы
зубы не зашатались, но и мысли не допускал с приставом
разговоры разговаривать. Не хотел ему тайну открывать,

чтобы пристав с Габовым допреж того не мог столкнуться.

На седьмой день явился Габов, глядел зверем, запугать хотел:

— Чего тебе, разбойник, от меня понадобилось?

— Да разве пристав не обсказал тебе всю картину? — ловко удивился Кирша. — Как ты сам коней увел, да плохо спрятал их?

Зубы у Габова застучали, на морде краска проступила, заорал:

— Пороть велю тебя до смерти!

— Опоздал. Мы уже аблаката наняли и попа вызвали, все им выложим. На этот раз ты, хозяин, промашку сделал, да не одну. Весь ты в моих руках.

— Врешь, проходимец, врешь! Никаких козырей у тебя нету!

Кирша загнул перед его носом палец:

— Перво-наперво, рано утром выскочил ты из дому на крыльцо одетый-обутый, заорал благим голосом: «Коней увели!» Ты до конюшни не добежал, откуда узнал, что коней увели? Какая сорока на хвосте тебе весть принесла? А ну, говори, тварина! — Габов тут глаза выпучил, а Кирша загнул другой палец. — Обе кобылы жеребье. Ты свел их в одну конюшню и всю последнюю неделю сам поил-кормил. На всех конюшнях замки одинаковые, а на этой оказался другой какой-то, ломом исковырян, немят. Ты сам навесил его с вечера таким. Ежели бы его тут разбивали, все бы услышали.

— Вы всё проспали, окаянные!

— Верно. Мы, ротозеи, дрыхнули. Так зато перед конюшнями на цепях бегают два пса. Чужого бы они ни на что не подпустили, а хозяина, небось, не схватили ни голяшки.

— Зачем мне самому такой изъян наживать? — кричал Габов. — Заврался ты!

— Изъяну тебе в том нету, а выгода прямая. Жеребята будут племенные, редкостные. И ты их в нутре матерей запродавал. Взял большой задаток. Раз их украли, ты его зажулишь. У купцов всегда мошенство. — Кирша больше того, что высказал, ничего не знал и дальше был напропалую и угадал. — Кобыл после ожеребьевки тоже запродавал. Дорогие! Таких ни у кого нету. Задаток тоже хапнешь! Застрахованы у тебя кони в обществе

«Якорь». Дери с него! Нам ни жарко ни холодно. А ты размахнулся на что? Ладишь ты, кобылий понос, нас заставить работать на тебя бесплатно, крепостными нас сделать.

Долго думал Габов, потом спросил:

— И чего тебе от меня надо?

— Разорю тебя, — отвечал Кирша, — по миру пушу. Все узнают, доверья ни от кого не будет. Откупиться — дорого станет.

— Это еще как сказать! Ты мне дело говори, что самому-то тебе от меня надо?

— Пока из клетки не вылетим, разговоров вести не станем.

Опять Кирша один сидит. Прослышал, что мужиков выпустили, — отцепились, значит. Порадовался за них. А ему ни вопросов, ни допросов, и он заявленья не делает. Пристав не трогает. И это понятно: договорился ворон с вороном.

Снова Габов пришел:

— Не надоело клопов кормить? Али тебя сытно кормят?

Кирша отвечает:

— Сижу не по твоему навету. Военский начальник приезжал, беда как просил помогчи ему разобраться в подлостях твоих. Пора, говорит, этого паршивого жулика Габова за решетку упрятать за то, что он в прошлом месяце сдал в комиссию худеньких лошадей — недомеров, а своих добрых коней спрятал. Тут тебе малой тыщей рублей не отделаться, хозяин.

Веселье с Габова как ветром смахнуло. Побледнел и руки опустил.

— Ах Кирша, Кирша! — сказал он. — Я-то ведь к тебе всем сердцем, а ты ко мне одну злобу таишь. За мой хлеб да за добро тебе готов меня в Сибирь закатать. Образумься, одумайся да айда ко мне. Обижен не будешь.

— Нет, нет! — Кирша головой замотал. — Приглашение имею на высокую должность. В городской управе назначаюсь главным санитарным досмотрщиком. Уж я тебя, окаянного, ожгу! Все конюшни заставлю перестроить, — не в том месте стоят. За навоз штрафовать стану изо дня в день: стоки воду городскую засоряют. Холеру или самую чуму хочешь ты развести? Дохтура

бумаги писали, да откупился ты. А я подыму все их заново и куфарке городского головы отдам. Она моя снохачница и ходу бумажкам даст. Никакими деньгами не откупишься. Хрустнешь под ногтем, как гнида страм-ван!

Габов поверил-не поверил, всему-не всему, а задом унитился.

Утром Киршу выпустили. Пристав указал — убирать-ся на все четыре стороны из его участка.

Пришел Кирша на берег к шитику, с казенных хле-бов покачивается, шляпу на затылок сдвинул:

— Здорово, лешаки! Никакой ворог нас не ломает. Дадим ему жогу! Все я уладил: Яранин надоумил, заста-вил мозгой шевелить.

19.

Благодарили мужики Киршу. А пережитые несчастья и голодовки все же сломили их. Впали мужики в отчая-ние, голосить стали:

— Господи, да где же правда на свете? Пошто госу-дарь наш батюшко не станет на защиту нам? Пошто не поможет?

Кирша повалился на землю от смеха:

— Вы же сами с ним компанию испортили! С госуда-рем нашим Николаем Александровичем!

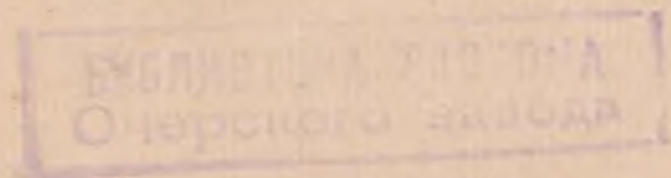
— Ой, что ты! — испугались мужики. — Даже страш-но такое говорить!

А Кирша рассказывать давай:

— Он в гости к вам заглянул, а вы как его угостили? Шибанули прямо в нос! Будь он проклят, если заступит-ся за вас после этого!

— Да когда же это было, Кирилл Матвеевич? И где?

— Не стоило бы поминать помазанника божьего, на-плевать бы на его, да к слову пришлось. Слушайте. Не так давно, в котором-то году, наш анпиратор, когда еще в наследниках престола ходил, отправился он по матуш-ке родной земле нашей. По Волге и по Каме на пароходе поднялся он и к нам. За неделю перед тем весь крестьян-ский люд согнали власти на берег Камы. Заставили одеть у кого что получше есть. На время дали лапти новые, рубахи и порты без прорешек. Бабам и девкам копеечные кольца на пальцы, в уши сережки повесили. Дурака,



конечно, видом обмануть не трудно. Народ, мол, оханский сыт, здоров, одет и только и знает, что на берегу пляшет.

Наследник в дороге замешкался, и напрасно мы целую неделю плясали да хороводы водили. А было бедно невесело! Пора-то рабочая, кажинный день дороже всего. Ну, люди и проклинали весь царский род густо, по-мужицки.

В пасмурный денек пароход стал приставать к мосткам. Заиграла музыка, народ бросил игрища — и к сходням. Стражники сдержать не могли.

Пока цесаревич спускался к берегу, его осмеяли, ограяли с головы до пяток:

— Недоросток!

— Худой, ровно нищенок!

— Бабы ему кровь высосали!

— Вина у него недостаток, вот и румянца не видать.

— Баят, в нужник пешком не ходит!

Тужились стражники заглушить говорню, осадить толпу. А самые подлые, самые страмные два человека на свете — купец Жаков да кулак Сатана подносили Николке хлеб с солью.

Посля того наследник ступил полшажка к нам и говорит:

— Здорово, православные крестьяне! Молю господа бога да ниспошлет он вам здоровья и благоденствия. — Он поднял ручку высоко и пальцами помахал: — А вы всё пляшете? Танцуете?

Конечно, говорить ему с нами не о чем. Но умный никогда не обронит крестьянам этаких глупых слов. Неловко стало всем, хоть провались сквозь землю.

И вдруг тут раздался, в тишине-то, треск. Со всех мест раздалось. Будто сговорились. Это, значит, от ржаного хлеба в животах.

Лицо у принца переменялось.

— Что это? — спросил. — Что это?

Исправник ни жив ни мертв:

— Это... это... ваше высочество... это по местному наречью — боже, царя храни!

И раньше был не шибко добрый Николка, а с тех пор к народу совсем спиной повернулся. Кто же теперя кого пересердит? Анпиратор али мы? Не знаю. А хорошего не жди.

* * *

Под хохот не так муторно было собираться домой.
А ведь мужики-то бились, бились в городе, а уходили
ни с чем.





БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ

Повесть

1.

На краю деревни Усолье, на нижней стороне единственной ее улицы, стояла маленькая избушка, крытая много лет назад ржаной соломой. На улицу глядело оконце да в огород такое же, тоже одно. Пристроек никаких вокруг не было, а сразу от крыльца вниз к речушке Тулубаихе тянулись гряды узенького огорода. Вместо ворот стояла ограда из жердей в две нитки.

Жили в этой избушке Ежи — старые муж и жена. Может, они не так годами были стары, как изъедены нуждой и лихой судьбиной.

Годы свои Еж давно спутал:

— Когда освобождение народу объявляли в церквах, мне, поди, уж лет шесть-семь набежало.

У отца его Митрия Коскова был огромный домина с пристройками, с доброй усадьбой, была не одна лошадь, и засевал он немало земли. Семья большая: четыре сына, четыре дочери. Все сыты и одеты. Да вот однажды графский управитель приехал в волость и объявил хозяйскую волю: не разрешает, дескать, больше мужикам сеять хлеб на его земле.

Много тогда народу по миру пошло. У Коскова Митрия остались две полосы надельной земли — своей-то ни полничко не было. И стала семья голодать, а на другое лето дом и все хозяйство сгорело.

Кулак Сатана давно зарился на Коскову усадьбу. Тут-то, как случай вышел, он помог Митрию поставить избушку наодине, а сам завладел доброй усадьбой.

И не смог больше стать на ноги Митрий Косков.

Самый младший из парней у него был Мишка, которого после и прозвали Ежом. Старший брат сгинул в бедатах. Второй был забран на Очер-завод и там умер от леготки. Старшую сестру отдали в Оханск купцу Жакову в услужение за хлеб на три года. Она захворала недоброй болезнью, не нужна стала Жакову, а отец ее такую обратно взять отказался. Убрела она на Тупицынский завод и там серой отравилась. Вторая сестра за хлеб же была отдана в няньки в поповскую семью в Осе. Но поп просмеял ее, попадья нещадно била, и сестра, почувши тягость, бросилась в Каму. Третьего брата, его Федором звали, и Мишку по наряду из волости отправили работать в завод Нытву. Сначала на год. Потом еще на год отсрочили. Федька был буйный парень. Он бил ватагу непокорных.

— Хуже не может быть нигде! — кричал Федор. — Копь к черту на рога, только не здесь пропадать! Айда, ребята, на низа, откуда к нам Пугачев приходил!

Ватага распевала:

Экой Ваня, разудала голова,
Разудалая головушка твоя...

А ночью запылала контора завода. Управитель князь Ратьев сбежал, но из стражников кое-кого побили. Говаривали потом, будто всю ватагу окружили у Сайгатки, взять живыми не смогли, перебили насмерть.

Мишку схватила горячка, и его прогнали с завода. Пришел домой — отца в живых уже не застал, только мать да двух сестер. Самую младшую взял к себе лесничий Саломатов и хорошо держал ее в услужении до пятнадцати лет, потом прибавил ей годов по метрике и выдал замуж за своего работника. Она с мужем уехала куда-то. Последняя сестра той же зимой от оспы и голода умерла.

Про отца сказывали: взялся он с артелью тянуть баржу от Устья до Чусовой. У Сарапула баржа наткнулась на камень и затонула. Бурлакам лямкой помяло груди, а кое-кого насмерть задавило. Мишкин отец лежал в какой-то деревне у татар. Те отпоили его кумысом, поставили на ноги. По пути домой отец обирал зерна с кучек, тем и питался. На этом его захватили мужики и забили бадагами.

2.

Мать не плакала, только тихо стонала.

— Отстрадался Митрий. Может, на том свете всем нам легче будет. А здесь нету нам ни земли, ни хлебушка. Чего, Мишка, сегодня есть-то станем? Мешать отруби с мохом? На раз не хватит.

В тот год вся губерния голодала. После сева прошли дожди, а потом наступила жарынь. Земля истрескалась. Все, кто могли, разбежались по дальним местам хлеб добывать. Той осенью бабы бросали своих ребят в реку Очер, а иные и сами бросались вслед.

Власти, видя, что податей им не собрать, торопились, забирали что могли, угоняли скотину. Наехали приказчики Вагановых да Митрофановых — лесопромышленников чердынских, ну и за хлеб, задарма совсем, стали вербовать людей на лесные работы.

Мишка оставил матери полтора пуда зерна и ушел вверх по Каме. Мать до весны как-то дотянула, но засеять всю полосу не смогла, засеяла одну леху, а две сдала за пахоту и зерно Сатане.

Мишка и другие, кто с ним вместе ушли, ни весной, ни

летом не вернулись. Лесопромышленники сжульничали, исправили сроки договора на бумаге. Только еще через год Мишку отпустили с плотом вниз по Каме.

В Соколках его перехватили демидовские люди и прогнали воли сделали кабальную — тянуть баржу до Черми. В Таборах Мишка от них сбежал.

У лесничего Саломатова вся семья хорошо помнила сестру Мишкину. Ее все любили. Барышни обучали ее даже писать и читать. Вот Мишка и явился к Саломатову, пал в ноги. Хороший был Саломатов человек! Пожалел Мишку и, чтобы схоронить его от розысков, услал в глухой лес, на Чуран лесообъездчиком.

Остроженский старшина Потанин знал, где скрывается беглец, да не хотел ссориться с Саломатовым, который был в силе. Потому на запрос о розыске отписал Потанин, что Михаил Косков в его местах не появлялся.

Зато кулак Сатана не упустил случая. Раз сам Мишка числился в нетях, Сатана на законном основании отнял у его матери полоску земли. В те времена на женскую душу земли не полагалось.

Но Мишка теперь не горевал: жалованье ему было, правда, четыре рубля в месяц, зато место доходное. Лодрова неклеименные пропустит, то лесину кому даст. Шире-дале: самого Потанина да и других уолаготворил и за это снова получил полосу. Лошадь, корову завел. Гулялся, скапливал деньги — земли бы купить, дом добрый поставить.

Кормилец Мишка в семье единственный, так ему военная служба не угрожала, и мать настаивала на том, чтобы он женился. Давно ему приглянулась девка Марья на Казанке, красивая, работающая, только худородная. Но Мишка не гордился тем, что хорошо стал теперь жить, — женился на Марье.

3.

Саломатов умер внезапно. Скоро приехал новый лесничий — Пясецкий и стал вводить свои порядки. Взвыли мужики: до сих пор все строились и отоплялись, а теперь даже валежника не тронь.

Прибыл Пясецкий и на Мишкин участок. Мишка, Марья и мать низко кланялись господам.

— Ни один объездчик не живет в такой конуре. Ни

двора нет, ни ворот... Он что, дурак? — спрашивает у своего помощника Пясецкий, а сам глазами Марью пожирает.

— Да нет, потравы у него не меньше других. Нарубил себе лесу, черт-те что. Видно, ждет санной дороги пес!

— Ноги затекли, — сказал лесничий и пошел в избу. Здесь чисто, дух хлебный, но пусто. Не видать рушника вышитого, божница не обряжена, нету ни постелей, ни половиков.

— Ставь самоварчик, ягодка, — прищуриваясь на Марью, сказал Пясецкий.

— Не обзавелись еще. Не успели. Я в чугуночке живо заварю.

Марья засуетилась. Мишка стоял непочтительно, вразвалку.

Пясецкий взъелся:

— В солдатах не был? Сразу видно. Где твоя лошадь?

— У суседа в стае.

— Седлай, скачи за помощником. А я останусь. Разломило на ваших долгушах.

Версты три Мишка скакал да оглядывался. У опушки не вытерпел, повернул назад.

Мать на крыльце держалась за скобу дверей. Мишка мимо нее в избу.

Пясецкий левой рукой прижал Марью к себе, правой вливал ей в рот вино. Мишка схватил бутылку со стола, да когда размахивался, она разбилась о низкий потолок. Только осколками изрезало морду лесничему.

Он не просто прогнал Мишку с работы. Неотесанных дураков надо учить! Он приказал подобрать материал насчет потравы леса, и волостной суд посадил Мишку в замок на два года.

Увели лошадь и корову, отобрали землю и зерно.

Мать надела боковик и хребтовик, закинула за плечи переметыш* — пошла собирать куски. Зимой от простуды у нее отнялись ноги, и она села на печь на всю остальную свою жизнь.

Молодка осталась на сносях. Гоняли ее наравне с другими и глину месить, и в лес. Родился парнишка преждевременно, хилый — и умер.

* Боковик, хребтовик, переметыш — мешки.

Когда Мишка вернулся из замка, у Марьи была полная, здоровая девочка, но — глухонемая. Впервой у Мишки вздыбились волосы, и глаза стали колючие, злые, как у ужа. Заревел он:

— Ты что? Думала, живым не вернусь?

Марья пала на колени.

— Свекровка куски собирать не может. Я по обрядам спишу гну, заработать ничего не могу. Ходила к омуту, голод толкал, а самой броситься страшно стало, Миша. Сам меня зашиби чем хошь хоть сейчас, хоть маленько погодя. Повинная я, и тебя не прокляну. Одно молю: не тронь дитенка. Если выживет она, — видать, и без того несчастная будет.

— Не тронь Марьку! — мать нагнулась с печи. — И девочку призри, сколь жива будет. Не в час рожденный сам от ты. Голод не тетка, суди-ко по себе. А ведь Марька не кинула меня, хоть и как билась!

— Кто он?

— Про то не скажу. Тебе же легче. Был, хлеб дал и нету его, и не будет.

Мишка не дрался, стал пить. Полоску земли на него дали. Когда он ушел на заработки, каким-то чудом Марья засеяла ее всю. Но работы нигде не нашлось, и осенью голод схватил их за горло.

А тут Сатана подкатился — он давно следил за ними. Прикинулся добрым ангелом, пришел ласковый, с вином.

— Не обездоль меня, Миша. Заставь за себя бога молить. В твоих руках все. А семья без хлеба не будет. Как своих стану содержать.

Не верил Мишка. Знал ведь он, как за старшего сына Сатаны ушел в солдаты парень Лука, а мать его и сейчас голодает.

— Сумлеваешься? — наседал Сатана. — Напрасно, Миша. Вернешься домой, я и корову дам, и ягушку, и рыбку. Все дам! Не веришь? Смотри — икону беру. Да отсохнет язык мой, да лопнут глаза мои, да завернет мне детский голову назад, да провалиться мне...

Мать и Марья захватили головы — ревели. Сыновья Сатаны внесли мешок зерна и мешок муки.

Какой голодный устоит перед хлебом насущным!

И ушел Мишка на четыре года на службу за сына Сатаны.

Марья билась, ровно муха о стекло, а в праздники взваливала свекровку на загорбок, выносила на перекресток, садилась на обочину дороги, ставила перед ней черепок.

Целый день старуха тянула:

Дай мне, боже, плакать,
А соседу смеяться.
Мне голодной быть,
А соседу сыто жить.
Дай мне, боже, страданье принять,
А добру соседу не баливать.
Мне бы, боже, по миру бродить,
Соседу бы чужого куска не просить...

Сатана забыл все обеты, на двор к нему и не суйся. Из солдатской полосы земли две лехи Сатана за вспашку, за зерно хапал себе и только одну засеивал Мишкиной семье.

От Мишки вестей не было. Узнавали о нем что-нибудь случайно, от вернувшихся солдат, да и то всегда худое. Пьянствовал он там, буянил, был бит и штрафован. И прослужил он через то шесть годов вместо четырех.

Когда возвращался со службы, так еще далеко от своей деревни узнал, как живет семья. В голове закружились недобрые думы, на сердце залегла злоба на все, и смотрел он нелюдимом.

Соседи в деревне при встрече сгальничали над ним, зубы скалили:

— Лычки-то выслужил ли?

— Здорово, царско войско!

Мишка не отвечал. Острой бороденкой тряс, злыми глазами колол их, шел к своей избе.

А вслед неслось:

— Да будь он проклят! Сколь годов не был, а и не поздоровкался!

— Злой! А кто виноват? Нам рази легче?

— Солдат собаке брат.

— Колючий, ровно еж.

— Еж! Ей-бо-пра! Ежище он!

— Еж! С места не сойти!

Готов был взвыть Мишка от этого низкого прозвища. Вошел он в избу, скинул с плеч котомку, снял шапку,

оглядел всех. В глазах на миг мелькнула радость, но тут же взгляд стал злой, колючий. Марья шагнула к мужу, да накололась на этот взгляд, зарыдала в платок.

Глухонемая Варька спиной прижалась к стене, со страхом смотрела на них.

Мать свесилась с печи, прорыдала:

— Дитёнок! Не чаяла уж. Дай-то, господи.. Варька, беги! — она ткнула пальцем на ведра.

Варька схватила их, убежала затоплять соседскую баню. Марья нагнулась, чтобы стянуть с мужа сапоги.

Мишка спросил заботливо:

— А что вы тут едите? А как Сатана тот слово свое выдерживал, когда я там за его окомелыша, за обрубыша его пот и кровь свою на царской службе тратил?

Мать замахала руками:

— Не злись на него, сын мой несчастливой. И всяк на его месте не меньше бы хапал. Не в том беда, а в том, что своей земли нету. Надельная полоса, она только дразнит. Наша будто, а не совсем.

Мишка хватил кулаком по лавке.

— Да я ему, окаянному! — и выбежал из избы.

5.

Вбежал Мишка в горницу к Сатане и так хлопнул дверями, что они распахнулись за ним настежь. Оба сатанинские сына вскочили с лавки, а снохи выбежали в середины.

Сатана схохотнул:

— Ах-ха, солдат заявился!

Мишка брякнул себя в грудь и на Сатану:

— Ты что, проклятой! А?

— Ужаси какие! — в один голос взвизгнули снохи.

— Но-но! — Сатана стукнул в пол бадагом. — Поздоровкайся сначала! Перекрести образину!

— Я те перекрещу!

— Гаркну десятского, — старший сын бросился к дверям.

— Обожди, — остановил Сатана. — Уймется так. Какн таки неудовольствия могут быть?

А Мишка задыхался:

— Что обещал, когда улещивал меня идти вот за этого сопляка в солдаты? А? Заморил моих ты с голоду!

— Ты бы еще десять годов там заместо четырех про-
падал. — Сатана спокойно облокотился о стол. — Кто ви-
новат тут? И все бы десять годов я твою вшивую коман-
ду корми? Четыре года и то кормил. И посля того кажин-
ный праздник мои бабы носили им по целому блюду
милостыни. Не клепи на меня. Не веришь? Икону в руки
возьму! А интересно мне бы допытаться, чего ты доби-
ваешься от меня?

— Чего? Добиваюсь чего? — в глотке у Мишки пере-
сохло от бесстыжего вопроса Сатаны. — Не трожь мою
полосу! Вот чего!

— Не трону. Отсохни мои рученьки! Мимо за три
версты объеду. Вон она на угоре тоскует: кто меня вес-
ной вспашет да засеет? Неужто ты сам? Кого запрягёшь
в соху? Мать али бабу? Ха! А зерно где? Поклонишься!
Айда отчаливай да не бросайся в другой раз!

Прибрел Мишка домой. А избенка совсем покосилась,
стекла в окнах на лучинках держатся и с сизым отливом
они, как у всех безземельных.

С рождения Варьки Мишка жену свою по имени не
звал. При надобности кричал:

— Эй, куды топор засунула?

И жил Мишка молча. Марья страдала от этого, потом
обтерпелась, сама стала ежихой, и глаза колючие.

А Варьку он, того хуже, не замечал, как будто и не
было ее совсем.

По утрам молча принимались все каждый за свое
дело, усталые молча ложились спать.

И молча же Марья смотрела, как муж обувал новые
лапти — видно, собирался в дорогу. Молча уходил.
А куда? Понятно, работу искать. Надолго ли? А, бывало,
всю осень, даже зиму, не возвращался, вестей не слал.
Когда же приходил, покупал зерна. Молол его или остав-
лял немолотым — и Марья догадывалась: на посев. И
опять уходил неведомо куда.

И мать схоронили без него.

Между тем года три сподряд люди жили сносно. Не
было добрых урожаев, не было и недородов. Середка на
половине. Только такие, как Мишка, уходили работать
на сторону. Им хоть когда плохо, им на ноги не встать.
Не по ним меряли жизнь старики, когда говорили:

— Ох, неладно так!

— Не к добру это!

— Мыслимо ли!

— Который год сыты. Избалуются люди.

И верно: избаловались! В ту весну особенно много посеяли хлеба. Но дождей не выпало — всходы засохли. И на стороне работы не стало. Лесопромышленники не брали людей в отъезд. Баржи на Каме тянули пароходами.

Кинулись было мужики на низа, к Волге, да и там недород.

Шатаясь, еле-еле убрел Мишка в город.

6.

Варька прижилась у добрых соседей Пирожковых, научилась шить, ткать и стряпать, через что потом счастье свое нашла.

Весной Мишка вернулся. В добром армяке и в сапогах шел он по деревне.

— Эй! Пошто печь не топлена? Стряпай шаньги! — пророшил он Марью. — Варюха где? Совсем отшатилась?

Марья опрометью выбежала из избы, скоро вернулась с Варькой.

— Недомовые! Приблудные! А это что у вас тачос? — Мишка мазнул пальцем по потолку, по стене, ткнул им в носы. — Рази так у людей?

— Какие мы люди! — чуть не всплакалась Марья.

Мишка сразу потемнел, сказал:

— Айдайте телку глядеть. Сторговал я.

У Марьи во рту пересохло.

— Куда мы ее денем? Чем кормить станем? Угодья, покосу нам нету.

Мишка опять потемнел. Марья в страхе закричала:

— Айда! Айда! Стану на веревке ее водить, по обочинам кормить. Стоять в сенях будет.

Через месяц Мишка молча ушел опять куда-то и вернулся только осенью. Купил он лошадь, долгушу, выпивал лесу, советовался добром: где стаю, крытый двор поставить, как перенести избу. Искал, у кого две-три полоны земли арендовать можно.

Целые дни они втроем работали в лесу, на дворе, в огине, не чуя усталости. В избе пахло варевом, хлеб был добрый. Под полом хрюкал поросенок, около дома пурхались куры, каждое воскресенье была стряпня. За-

ходили соседи, пили Мишкино вино, хвалили Варькину стряпню и Марьину капусту, завистливо доискивались: где Мишка заработал столь много денег?

С Варькой теперь он говорил ласково, даже гладил по голове. И Варька бежала к нему, что-то немовала, показывала. Он купил ей и жене сарпинки и ситцу, новые коты и ботинки с резинкой.

Так прошло года полтора. Пожалуй, не было более долгого счастья в жизни Ежей. В половине зимы Мишка ушел опять. На этот раз добром наказал, что и как делать.

И до смерти потом Марья не забыла, с какой печалью он говорил:

— Земли-то у нас своей нету. Без земли мы опять в полгода... — и защелкал зубами, будто волк какой.

Марье стало холодно. А Мишка продолжал:

— Там дорогу ведут. Мост через Каму строят. Добуду денег еще, людьми станем.

Но к севу Мишка не вернулся. Не пришел и осенью. А скоро после его ухода открылось: Варька оказалась беременной. И хоть она не признавалась матери, всяко показывала, что, мол, не он виноват, но все подозренье пало на Мишку.

— Не простил... отомстил мне! — редела Марья.

Варька родила мальчика. И Марья, проедая что осталось еще, хранила лучший кусок внучонку. Через два года Варьку взял замуж вдовец к четверем детям. Она стала сразу матерью пятерых, родила потом еще, жила хорошо.

7.

На углу Осинского переулка и Торговой улицы в Перми стоял двухэтажный дом Прозорова. В одной половине верхнего этажа жил сам Прозоров с семьей, вторая половина дощатыми заборками делилась на конурки — комнатки для чистой публики.

Нижний этаж, кроме небольшой кухни, был сплошной горницей. Вдоль стен скамьи стояли, перед ними — столы. Это был постоянный двор, и за пятнадцать копеек приезжий мог здесь ютиться круглые сутки, а если ставил на дворе под навес лошадь с возом, то добавлял еще гривенник.

Сам хозяин Прозоров занимался торговлей и сюда заглядывал раз в неделю, а жена, обремененная детьми, в дела не вмешивалась.

Всем двором полновластно ведала баба Фекла. Могутная была женщина. Писать и читать не умела, но никому обмануть себя не давала. Она все делала сама: мыла полы, чистила кождодневно двор от навоза, на кухне грела два куба воды круглые сутки, варила крестьянские щи, закупала на базаре сено и овес для лошадей постояльцев, тихомолком торговала водкой. И так более пятнадцати лет.

Круглые сутки постояльцы тормошили ее:

— Эй, Фенька, чаю скорей! Уморился я, лешачиха.

— Чичас, не ори! Разинул глотку, ровно дома.

— Фень, шей пару живо!

— Не дери хайло!

— Феня, водочки Николкиной! На деньги. Да одна нога здесь, другая там.

— Чичас сбегаяю, не близко.

Достанет Фекла бутылку из сундука за печкой, постоит, выждет время. Сдачи не славала.

— Фенюшка, коурой моей охапку сена брось! Да за котомкой пригляди, под лавкой. С живой не слезу, ежели у ней ноги окажутся!

— Унеси тебя лешак. Грозится еще. Кому она нужна?

Хватала Фекла котомку, закидывала ее под свою лешанку за кубом.

Приходил хозяин, спрашивал:

— Как дела-те хлещут? Давай деньги, беда надо.

Она доставала из сундука мешочек.

— А что мало? — ерепенился хозяин. — Куда их таишь?

— Как мало, Демьян Касьянович? Считай сам: двадцать по двадцать пять, да тридцать по пятнадцать, да в белых комнатах пятнадцать по рублю. Что те надо, ненасытному? А за стирку? За вывозку назьму? Небось, дам-то мне полгода уж не платишь. Обеднел, поди. А живешь со мной. Мотри, все Елене обскажу. Да и плюну на все. Ищи другую дуру.

— Ладно, ладно, не хорохорься. — Прозоров сразу утихал. — Разошлась! Крышу на дворе перестели, изобрела. Тесу купи да подряди плотника. Да во двор галек

с Камы надо навозить: грязище, перестанут к нам при
ставать через то.

— Айда давай отваливай. Без тебя знаю, что надо.
Забрал выручку и ступай.

Была Фекла Прозорову племянницей, любовницей и
незаменимой работницей.

8.

К Фекле на постоянный двор в поисках работы и зашел
Мишка, оборванный, измученный, голодный. Он долго
стоял и оглядывался, пока решился войти в двери ниж-
него этажа, откуда валило тепло и несло запахом щей.
Мишка присел на пороге, стал оттирать иззябшие руки.

Заскрипела лестница, спустилась сверху Фекла, подо-
зрительно оглядела Мишку, спросила:

— С какого облачка тебя выкинуло, столь антирес-
ного?

— Дай, милая, двор почистить! — Мишка вскочил. —
Есть хочу беда! Опосля все обскажу, если нужно, кто я...

Она налила щей, отрезала ломоть хлеба.

— Сперва поешь, мужик, да потом уж прибери двор.

Мишка схватил из рук Феклы хлеб и ложку, стал
глотать. По щекам текли крупные слезы, а он глотал и
глотал. Волосы смокли. Слизнул он с ложки прильнув-
шие кусочки капусты, сгреб хлебные крошки со стола
на ладонь, закинул в рот.

— Все слопал? — Фекла смотрела на него удивленно
и жалостливо. — Давай еще налью?

— Не-е...

Мишка отяжелел и устал. Хотел встать, идти чистить
двор, но голова склонилась на грудь. Он застонал и за-
былся.

Раздался окрик:

— Фень, воду-у-у!

Мишка выбежал на двор, схватил ведра. Потом он
очистил двор, исколол поленницу дров.

Фекла недовольно смотрела на него: не привыкла,
чтобы ей помогали. Она приготовила на столе щи и хлеб,
но Мишка ушел, не показавшись; голодный бродил по
базару, за весь день получил пятак — помог перетаскать
с воза в лавочку ящики.

«Господи, прости... — подумал он. — Терпенья нету
мне». И тут же впервые украл он с прилавка каравай

черного хлеба и съел его весь. На ночь забрался в какой-то темный, зато теплый коридор и уснул на полу. Проснулся он от своего стона и рева, рыдал, пока не схватил икота до боли.

Наскочила собачонка, рвала лопатину. Прибежали трое.

— Во-ор! Бей!

Мишка прикрыл голову руками и прижался к стене. Он сперва не отбивался, но в конце концов озлился, отверел, сбил одного с ног, метнул другого, убежал.

Утром на базаре он смело отвязал от воза жеребенка, продал его за целковый в татарскую мясную лавку. Пока мясники свеживали жеребенка, Мишка очистил у них массу. Не волновался, не торопился, равнодушно думал: «Убьют? Туда и дорога. От мытарства избавлюсь».

На толкучке он купил не новую, но чистую одежду, старую бросил тут же. Остригся. Подошел к сбитенщику, не торопясь наелся, напился, скрылся, не заплативши. Еще три раза так он ел в тот день и уходил небитым.

— Обожди, Марька, обожди! Скоро уж поди сотня будет... Обожди! Добудем мы землю, станем людьми! — бормотал Мишка, ощупывая за подкладом деньги.

9.

«Можно там и поесть, и выспаться в тепле, — думал Мишка, вспомнив Феклу. — А может, и деньги у нее есть... Обожди, Марька, обожди!»

Явился на постоялый двор, выложил перед Феклой пару пятаков и заезозил:

— Здравствуй, Фенюшка-душа. Прими, милая, за щи свои.

Фекла сердито смахнула пятаки на пол.

— Не нищая!

— Да и мы не какие-нибудь, — Мишка выпятил грудь. — Солдат я. Неловко так-то, — он собрал пятаки и снова положил на стол. — Ну, не злися. Налей-ко щей-то. Беда добрые их варишь.

И зачастил Мишка к Фекле. Рассказывал о солдатской жизни, о горестях и голоде, назвался безродным, мирским вскормленником, одиноким. А в уме и на сердце жила одна мечта — о земле. Теперь, когда за подкладом шуршала чуть не сотня рублей, он осмелел, жадно ловил случай еще добыть денег.

Фекла говорила мало, больше слушала. Не все и понимала. Мишка был моложе ее лет на пять, неполный человек даже: солдат — значит, бродяга, прощельга, проходимец. И в разговоре у него не все складно. Лешак ведает, что у него на уме. Молоть-то языком все можно!

А ее жизнь разве не такая же? Сбила Фекла немалый капиталец, мечтала бросить муторное и гнусное дело, обзавестись своим углом и семьей. Но года шли и уходили, и ничего такого не оказалось.

А Мишка наговаривал, как бес! И она заметалась: не спугнуть бы, не упустить бы счастья, да и не влопаться бы!

Иногда Мишка мимоходом пробовал уже и погладить ее. Она сердито отталкивала его руку, но теперь он часто ночевал на кухне у Феклы. Она не гнала и против своего сердца иногда говорила:

— А что ты, Миша, фатерку не возьмешь где?

— Фатерка-то есть, — он снова пытался обнять ее, — да скучно там. Особо без тебя. Беда, как мое сердце к тебе прилепилось.

Мишка во всем помогал ей: кормил лошадей, закупал что нужно на базаре и незаметно для Феклы стал ей необходим. Казалось уже, что она без него и не справится.

Если Мишка долго не приходил, у нее из рук все валялось. А он придет и ну подзадоривать:

— Вот вскрыется Кама, с первым парходом махну на низ. Прощай, Феклушка! Может, там найду счастье и остануся навсегда. Тяжело расставаться, да ничего не поделаешь.

Ему казалось, что мало у него денег. Хоть бы сотенку еще к той, заветной! И он крал на базаре, крал осторожно, по мелочам; а иногда собирал плату с постояльцев двора, но оставлял себе так мало, что и набитый глаз Феклы не мог придраться.

10.

Мишка увязывал котомку, показывал, что отъезд решен неотложно, и говорил заплаканной Фекле:

— Сходить рази узнать сперва, когда он отправится?

Вернулся Мишка с пристани весь не свой, причитаючи:

— Эх, горе-горький я! Не выбратся отсель. Обокрали меня.

— Да сколь же у тебя украли, Миша? — Фекла от радости задохнулась.

— Всё! Рублей двести, а то и поболее. Куды я без них? Придется обождать с недельку-две, хоть чего бы насобирать надо.

— Дала бы я тебе, Миша, да отпустить неохота. Так неохота! Не дам!

Теперь из денег, полученных с постояльцев, Мишка стал сдавать ей до того мало, что Фекла уж и уговаривать начала:

— Мишенька, хозяин сразу спохватится, нельзя ведь так-то.

Прозоров спрашивал Феклу раньше того:

— Зачем тут хлюст этот обретается?

— Мало ли народу бывает? — отмахивалась она. — Кто не спит у нас? А одной управляться тоже мне невмочь.

Но когда она сдала денег мало, хозяину сразу бросились в глаза новые Мишкины сапоги.

— Ты что? Хахаля подцепила?

Фекла сдернула фартук и кинула к ногам Прозорова.

— В таком разе — вот тебе! Уйдем седни же с двора твоего!

Терять Феклу Прозоров никак не хотел и сказал:

— Не злися, племянница. Тебе потрафлю, и ему место будет.

Когда хозяин ушел, Мишка стал задумываться, как бы ему все здесь не потерять, да ведь и хлеб сеять дома пора.

— Фенюшка, поеду на низ, посмотрю, где бы осесть нам.

И уехал, но к радости Феклиной через месяц вернулся, будто с горечью рассказывал:

— Зря деньги потратил. Поблизости ничего подходящего нам нету. Осенью подальше съезжу.

Стал Мишка готовиться к поездке. Опять начал забирать из выручки сколько мог, но только так, чтобы не раздражать хозяина, а с Феклой уж не церемонился. На базаре Мишка крал, играл в орлянку, кегельбан, на себя денег почти не держал, ел — не платил. Полиции он больше не боялся; если попадался, ловко всовывал взятки.

Полицейские ему козыряли:

— Звиняйте, господин! Ошибочка!

И Мишка становился все смелее. Денег уже было не мало. Купит он землю и лошадь! Будет есть ярушники и пшеничники мучнистые! Не будет Марья голодать и не изменит ему больше! Перестанут его называть проклятым прозвищем!

11.

Осенью Фекла отпустила Мишку в дальние низа, деньги дала немалые. Хозяина до себя не допускала больше. А он уговаривал:

— Пошто ты меня стшила? Дура, опомнись.

— Деньги ты получаешь, а сама я тебе не подкладка больше.

Мишка вернулся через полтора года, с порога сказал:

— И там ничего подходящего нам нет. Говорят, в Сибири хорошие места.

— Да с тобой хоть на каторгу, Мишенька! Хоть сейчас.

Он пробурчал:

— На дворе морозы, а ты ехать. Перебьемся до тепла, там видно будет.

Какие-то бродяги на базаре пырнули Мишку ножом под лопатку. Еле выжил он в больнице и долго еще потом лежал на кухне у Феклы. Она торопила уехать от греха, а он думал о деньгах на землю.

Прозоров по-прежнему зло держал на Мишку. Ночью, когда тот не ночевал у Феклы за печкой, в хозяйской квартире произошла кража со взломом. Напрасно Фекла уверяла полицию, что Мишка провел всю ночь безвыходно у нее, напрасно и взятку совала. Пропавшие вещи наши у Мишки в котомке. И он сел в тюрьму на три года.

Фекла ушла с постоянного двора на квартиру.

12.

Стены в тюрьме немые, тюремщики неразговорчивые. Мишка шагает по камере взад и вперед, все сам с собой разговаривает. Сердце и мысли его в Усолье... Едет будто он в долгуше, понужает сивку. Торопится — ждут дома. Марька как раздобрела! Варюха выросла! Мать ворчит на печи: где только сын пропадает долго. А на столе щи дымятся, ложки разложены, хлеб ломтями. Мишка

в долгуши мешки с мукой снимает. Ух, какие тяжелые! Большие! Крышу надо перекрыть, солома изопрела и редкая стала, как вон... тюремная решетка.

В окне только небо, земли Мишке не видать.

— Эй ты там! — он тянет руки вверх, к небу. — Эй! Как мне без земли-то? Пошто мне земли нету?

Вовсе сил лишившись, Мишка падает на пол. Нет, не добыть ему денег, а без денег не добыть земли. Не дает-ся она ему в руки.

Мишку охватывает тоска и ненависть ко всему. Хоть бы еще вернуться туда, повидать ту землю! Хоть бы кто принес ее ему в горсти немного, раз уж много ему нету!

Тюремщик гремит дверью, ключами.

— Ты, эй, иди на свидание.

А Мишка не слышит, свое думает. Сосед Матюга зовет его в Оханск. Не поеду я! Вон сколь снопов в овине не прибрано. Когда и управлюсь с ними?

Но тюремщик в глазах мельтешит, про какую-то Феклу поминает. Фекла? Чего ей надо? Чего это она говорит? Чего это показывает сквозь решетку?

Мишка злобно кричит ей:

— Ты виновата! Не дала денег на землю! Из-за тебя мучусь!

И колет глазами Феклу.

Пропал бы он, заели бы его тюремные вши, если бы она оставила его в беде. А Фекла тяжела была, ждала дите от него.

В Слободке Фекла сняла угол с печью, на обжорке — прилавок и стала торговать щами, пирогами, оладьями. Каждую неделю она носила в тюрьму передачи, плакала:

— Страдалец ты мой...

А он колот ее ежиным взглядом или смотрел в сторону, молчал, не спросил ни разу, где и как она живет, что делает.

— Засохло... — плакала Фекла. — Затвердело твое бедное сердце... Оттает ли?

Однажды она сквозь решетку радостно прошептала:

— Васькой назвала, не спросилась у тебя... Здоровее-хонек... дите наше...

Мишка не сказал ни слова, ушел.

Так все три года прошли.

Васька от колючих взглядов отца ревел. Фекла ночью ми ощупывала Мишку — худой, изморенный. Она укутывала его, отогревала, прижимая к себе. Чуть свет, она уже стряпала, варила, жарила, кормила мужа и сына, бежала в обжорный ряд.

Здесь Фекла продавала свою стряпню, закупала что нужно, бегом неслась домой, ласкалась:

— Обожди, Мишенька, потерпи. Станешь, станешь сам хозяином.

Мишка искал работу, да везде натыкался на отказ, и опять оказался на Черном рынке. Тут хоть на каждом шагу кради, только тряслись руки и ноги. Он отворачивался от соблазна.

Теперь с Мишкой творилось совсем несуразное: смотрел на одно, а видел другое. Вот это не Фекла, а куча хлебная, не Васька вертится около, а сноп.

— Ух ты, сноп!

Мишка сморщился от радости, щелкнул ногтем снопа. Васька заревел. Фекла со счастливым смехом успокаивала:

— Отец с тобой играет ведь. Вишь — любит! Отец ведь, не кто-нибудь он нам.

Она знала, что ей теперь делать. Увезти его надо в свою деревню около Сарапула. Там в хлопотах по хозяйству отойдет душой Мишка, вроде как ящерка — замерзнет она с холодами, а весной отходит. И Фекла радостно засобиравалась в дорогу.

Как-то Мишка вернулся домой раньше Феклы. Васька играл материным кошельком. Мишка схватил его, раскрыл: рублей двадцать.

— Ведь это тридцать-сорок пудов ржи! Марька! Жива ли? Стой, обожди, может, и мы...

Он убежал на толкучку, кинул в кегельбан — проиграл, в орлянку — проиграл.

— Не везет!

Остатки денег запрятал под подклад, в вату. Теперь он ощупывал у Феклы одежду, постель, узлы: не зашуршит ли где, не звякнет ли, не захрустит ли. Нет, нигде нет! Они, в рю, вон в сундучке, пять на три четверти, окованном, с внутренним и висячим замком. Он тяжелый. Там, думать надо, тыщи! Обожди, Марька! «Возьму,

вольму их, дорогой где-нибудь сойду с парохода... Обо-
жди, Марька, добуду я! Как раз скоро сеять!» — твердил
он сам себе и ждал отъезда.

14.

Было шумно, тесно. Взад-вперед ходили люди. Сидя
на сундуке, Мишка отвернул висячий замок и ножом
сорвал внутренний, да заглянуть в него не удавалось:
Фекла сидела на узлах обок.

Пароход длинно заревел.

Мишка хватился:

— Да ведь это Оханск! Оханск и есть! — и выбежал
на пристань.

Фекла обеспокоилась и пошла за ним. А ему пахнули
в лицо родимые запахи, он всматривался вдаль и шел
бы, шел... Да Фекла держала за рукав.

Сердцем он уже бежал по тракту мимо Притыки, ми-
мо Половинной, мимо Кокуя, через студень Очер — в
свою деревню. Вот и Усолье! Такое же, как и в тот день,
когда Мишка ушел отсюда в последний раз. Вон изба!

Но тут... пало ему в голову: нечем ему оживить избу.
Мишка застонал, слезы закапали с бороды на землю, ро-
димую и чужую, которая никак не давалась ему в руки,
не кормила досыта.

— Да будь проклято все! — он грозил кулаками ко-
му-то.

Фекла ласково тянула:

— Айда, Мишенька. Уж второй раз ревет пароход-от.
Он обернулся, с ненавистью уставился на нее:

— Ты! Не даешь подняться на ноги! Из-за тебя все
потерял!

— Рехнулся? Опомнись, не мели-ко...

Мишка ударил ее раз, два...

Боли Фекла не почуяла, только стало ей горько не-
стерпимо. Однако переломила себя:

— Айда, худоумный... третий ревет... Замысловатый
ты, право... Не знаю, как и быть-то с тобой... Ну, ударил...
бабу, меня... Да откудава ненависть-то такая?... Не даю
встать на ноги? Все потерял? Из-за меня?

Она дотолкала Мишку до своих узлов на палубе и
сразу легла, закуталась в шаль и затихла.

Пароход опять длинно заревел, приставая к Беляев-

ке. Мишка решился: вскрыл сундук, стал искать, весь вспотел. Вот на дне какой-то сверток, тугой, обернут в старую файшенку, обвязан нитяным гайтаном, на перелом хрустит. Они! Они!

Фекла медленно поднялась, удивленно спросила:

— Чего задумал?.. Васька, погляди на отца-то!

Мишка только и бормотал: «Обожди, Марька, обожди...» — и сунул сверток за пазуху.

— Бери, бери, — спокойно сказала Фекла. — Не много ведь тут у меня. Лишь бы в прок тебе... Иди! Что ты нам? Не кормилец, не поилец, не защита.

Мишка сбежал на берег. Она шла за ним.

— Будем с Васькой горе мыкать, а выть не будем. Может, опомнишься? Я корить не стану. Сын ведь у нас... Обобразуемся, слышь, Мишенька...

15.

Мишка вбежал в избу, сел на лавку, огляделся. Марья ойкнула, прижала руки к груди. Мишка снял сапоги, скинул пальто. Сверток с деньгами упал на пол. Мишка схватил его, сунул под шапку, лег на нее и сразу заснул.

Марья тряслась от глухих рыданий. А когда слезы иссякли, подняла мужевы онучи, пошла на реку стирать их.

Мишка видел во сне соседей. Матюга и Данько вброд перешли Очер, схлопали руками:

— Чья это полоса? Сколь добра рожь!

— Чья? Да Михайла Коскова!

— Неужто? Разжился? С хлебом?

— И та полоса его, и та, и вон эта...

От удивления у обоих глаза округлились, расширились все больше, стали шире колеса. Мишка так хохотал над ними, что проснулся; сел, схватил сверток, стал считать деньги, спросил жену:

— Эй, не слыхала ли: кто ныне землю продает?

— Ухо не наводила, а про Матюгу слышала. Оба сына отшатились, надоело им недоедать, ходить ни в чем.

Как был босой, Мишка перебежал дорогу к Матюге. А тот не обрадовался покупателю:

— Не стыдно тебе, суседу близкому, последнюю землю у меня покупать? Ведь у меня надельной земли нету и не дадут. Али силу почуял, Ежище проклятой?

Мишке и было стыдно, да не совсем: не помнил он, чтобы и Матюга его на деле пожалел когда. И прозвище-то Еж пристегнул ему он же, Матюга.

— Ребята мои ушли, — проговорил Матюга. — Сам я из сил выбился. Лошадь обезножела. Издыхать и мне пришла пора. Бери землю, а то Сатана наведывается.

— У меня не полижется! — Мишка хвастливо ткнул себя кулаком в грудь. Не помня себя от радости, он тут же убежал в поле, шагами мерял полосу, упал на нее, целовать стал, руками обхватывать, приговаривать:

— Земелька... земелюшка моя родная...

А Матюга из слова в слово ревет от горя, распялил руки:

— Земелюшка, земелька моя милая, прощай, кормилица!

Мишка вслух размечтался:

— Как бы мне еще надельную полосу от Сатаны вернуть?

16.

Сатана окрысился:

— Каку таку полосу? По два года я твоей Ежихе запахивал полосу, засевал своим зерном по совести, пока ты там где-то в сапожках щеголял по городам.

— Так ты за то сеять-то одну леху только оставлял. И то не всю.

— А чье зерно сеялось на той лехе?

— А на кого Марька робила?

— Боле того съела. Ступай жалуйся. А лучше — не шеперься. Нрав свой не оказывай. Давай и эти обе засею исполу. И выгоды никакой мне нету, да земля не доложна лежать втуне. Про ту полосу и не вспоминай. Три года стану пахать, сеять и хлеб снимать с нее. Вернуть ее тебе выгоды нет ни тебе, ни мне. У тебя ее волость заберет сразу, а у меня нет. Знаешь господню притчу о талантах? Ты свои таланты в землю зарыл...

— В солдаты уходил за твоего пороса, что ты мне обещал?

— Чем докажешь, что я не рассчитался? На том свету мне упреку не окажется. В моем молитвеннике имячко твое записано за здравие. Что еще надо? Вечно вы недо-вольны, хоть масла вам лей на голову. Да Христос с

вами, не сержусь, придешь — вспашу землю. Земля должна родить...

Мишке представилось самое больное, крикнул:

— Родить? Ты либо сыновья твои Марьку да и Варюху моих голодных за хлеб же... заставили родить... — сжав кулаки, скрипя зубами, Мишка пошел на Сатану.

— Но-но, охолодись! На старика, меня, не распалайся. Хрястну бадагом, и суда мне не будет. Эка беда, Марькой укорил... А еще снисхождения ищешь, землю удержать думаешь. Я те засею!

17.

Метался Мишка, не спала ночей Марья. Никто в деревне не хотел вспахать и засеять Мишкину землю на сносных условиях, а только исполу.

Сосед соседу волк. Каждому своя рубаха ближе к телу.

Осталась последняя возможность и надежда:

— Эй, сходила бы к Варькиному мужу. У него три лошади. В два бы дня он поставил бы нас на ноги.

— Не пойду. Зятюшка мой ненавидит тебя. Не пойду!

— Напрасно, Марька, ты. Я знал, что ты думаешь на меня, и смешки кругом все слышал. После и зять так понимал. А я все молчал на досаду тебе. Верь не верь — Варьке я не виноват. Не мой у нее дитёнок.

И единственный раз Марья грубо ответила мужу:

— Было, прошло, улеглося, так и пусть! Не пойду!

И земля ушла в руки Сатаны.

Жили молча, работали больше порознь. В страду пристанет Мишка к какой-нибудь семье, молча идет с ней в поле.

— А, Еж! Ты, видно, у нас хошь робить? Айда, милости просим.

Мишка сердито глядел. Работал он старательно, но о плате и разговоров не было: просто звали пить-есть.

В праздники Мишка и Марья шли тоже порознь в те дома, где работали.

— А, Еж в гости пришел. С праздничком. Спасибо за поздравку. Корми, Оксинья, гостенька.

Мишка садится за стол. Он ест много и жадно. Хозяйка отдельно от гостей подает ему еще кусок пирога и шаньгу. Мишка почти не жует, шаньга — на два куска,

пирог — на три. Он обсасывает пальцы, обтирает их о волосы на голове; хорошо знает: ему сусла, браги или пива не поднесут, дадут ковш квасу. Мишка боком киконь бултыхнет рукой — перекрестится — злым взглядом уколует всех, схватит шапку и молча уйдет.

На улице Мишка оглянется в обе стороны: не любит встречаться ни с кем, перебежит торопливо дорогу и пойдет в другой дом.

Ест он много и жадно...





ЗОЙКА-ПОЛОМОЙКА И ПЕТЬКА-КОЧЕГАР

Рассказ

Старая Куприяновна выжала тряпку, бросила ее в ведро, упала рядом, растянулась на полу и хрипло проговорила:

— Зойка, уведи меня домой. Больше я не кормилец тебе.

Девушка заревела и не сразу догадалась помочь матери подняться.

На другой день Куприяновна прибрела в контору, и причитала:

— Господин начальник, будь милосливый, пожалей ты нас. Зачисли Зойку в штат.

— Она у тебя незаконнорожденная. Паспорт ей не дают. А на железной дороге так нельзя.

— Сколь годов мы с мужем хотели обзакониться! Да все денег не было в церковь сходить. Потом беда пришла. В зольную яму он угодил. Живьем сгорел. На дороге же, не где-нибудь. В депо, вон тут. Куда мне ее деть-то? Ведь и кошка не кинет своего котенка.

Плача, Куприяновна напомнила начальнику, что Зойка тут и родилась, тут и выросла на вагонных полках, а с десяти лет уже помогала матери. Другим воздухом Зойка и не дышала. Она была наследственной поломошкой.

Начальник взглянул на Зойкину карточку. Там было написано: туберкулез легких. Ни врач, ни начальник не говорили об этом Куприяновне и Зойке. К чему? Ничто ведь не поможет, никто не спасет.

— Как ее в штат? Смотри, она какая. Коленки и локотки острые. Бледная. Грудь впалая. Кашель.

— Здоровехонька! Вытерпит, господин начальник! — Куприяновна упала на колени. — Куда деться-то? — и захлебнулась слезами.

Начальник с досадой сказал конторщику:

— Пусть на том свете на меня не жалуются. Запиши: временно штатная. Временно!

И Зойка теперь одна носила огромные казенные ведра с водой и мыла. С раннего утра до позднего вечера. В будни и праздники. Вагоны ждать не будут.

С одной стороны — депо, с другой — вокзал. Пути да вагоны. И всегда на сердце тревога, доставшаяся от матери: как бы не потерять место, как бы не остаться без хлеба.

Однажды маневровый паровоз двинулся без сигнала. С тендера на землю грохнулся Петька, кочегар. Зойка отчаянно закричала, подбежала, схватила его за руку. Парень вскочил на ноги.

— Испужалась? Али пожалела? Меня? Ух, ты! Здоровый номер получился! — он положил ей руку на плечо, погладил.

Простое дело, а она вспыхнула вся. Сердце всполохнулось, и стыдно стало, и сладко.

— До чего ж рука твоя горячая, Петенька. Ровно кипяток в водогрейке.

— Лезь, пащенок, на паровоз! Сколь время из-за тебя потерял! — кричал машинист.

За вокзалом бродячая шарманка жалобно завела модную песенку:

Пускай могила меня накажет
За то, что я его-о-о люблю...

А Петька блестел зубами и махал рукой.

«Да как же ты приятен мне, Петенька!» — думала Зойка, перед осколком зеркала впервые повязывая платок назад узелком. Волоски сделала кольчиками на лбу.

Куда улететь от негаданного счастья? Выбежала она за ворота вокзала.

На шарманке сидит зеленый попугай, ругает всех дураками и вытаскивает билетки.

Взяла Зойка розовый билетик. Кто-то прочитал вслух:

— Вас ожидают в жизни любовь и богатство, почет и уважение. Вы родились под счастливым созвездием...

Не дослушала Зойка, вырвала билетик, сунула его к самому сердцу и бежать.

* * *

Как-то машинист послал Петьку в лавочку за табаком. На обратном пути Петька завернул в будку. Зойку жаром обдало, чуть не выронила из рук хлеб и кружку. Петька положил ей на колени булку с колбасой.

— Да что ты деньги тратишь, Петенька?

— Да рази ты не по нраву мне? — он погладил ей голову и плечо горячей рукой.

В день получки Зойка подбежала к паровозу, подала связку баранок и кусочек помадки.

— Ешь-ко, Петенька.

Он спустился к ней.

— А меня штатным сделали. Отца и мать из деревни достал. Номер получается важнецкий!

— Да неужели, Петенька?

А он пригнулся и на ухо сказал:

— Сегодня после работы пойдем с тобой вон туда... на горку в садик. Люди же мы. Договориться пришло, беда...

Впервые в жизни Зойка оглядела себя: платье, в котором мыла вагоны, опорки вместо ботинок, мешковинка вместо платка. Сменки не было. Праздников не знала.

Она шепнула:

— Куда я такая, Петенька?

Петька захохотал. Показал на себя спереди. Повернулся, и там заплатка на заплатках.

Оба засмеялись.

— На паровоз, пашенок! Не крути зря голову девке, бесштанник! — рассердился машинист.

* * *

В саду Петька купил бутылку квасу — кислые щи — и вафли. Чумазые, сели они с Зойкой за ограду на траву, подальше от чистой публики. Зойка огляделась. В широкой реке купалось заходящее солнце. Тянулись плоты, и пароход бурлил воду колесами. Пахло водой и геранью. За оградой шарманка выводила:

Но я могилы не усташуся.

Кого люблю и с те-э-эм помру...

Зойка ничего такого еще никогда не переживала. А Петька шептал над самым ухом:

— Годиков через шесть, может быть, стану я помощником машиниста, может быть. А отцу теперь говорю: осенью Зойку жить приведу. А он говорит... ну, знаешь, отец ведь любит меня тоже здорово. Дурак, говорит, ты, Петька, мы всех соседей уже обспросили. Она незаконно-рожденная дочь у матери. Плевать, говорю, мне на этот номер с ее стороны. Когда женимся, ее в мой паспорт внесут. А он — свое. Дурак, говорит, ты, Петька. Если грянет война, и хоть ты один кормилец у нас, заберут тебя. И сядет Зойка на мою шею. Не-ет, говорю я ему. Она сама себя поит-кормит. А он снова покою не находит, сгозит. Дурак, говорит, ты, Петька. Она, говорит, городская, избалованная: ты в солдаты — она тебя ждать не станет. Начнет разные финти-минти, а то совсем убежит. Ну, говорю, не-ет, тятя...

Зойка смеялась до слез.

— Вот он какой у нас с тобой номер получается... — Петька заглянул ей в глаза.

— Ой, Петенька! Да я от радости вся не своя...

А он вдел ей в уши сережки, на палец надел колечко.

— Какие средства истратил, Петенька!

— Да я бы... — он вывернул оба кармана. Посыпались мелкие угольки.

Опять смеялись до слез. Зойка огляделась в осколок:
— Ровно цыганка на духовитом мыле.

— Что ты! В полтора раза фасоннее!

Но кольцо подошло не туго — верная примета:
к добру.

Шарманка заливалась:

Он называл меня своею
И в губки а-а-алы целовал...

Петька неумело поцеловал Зойку. Она вдруг задохнулась, губы побледнели, румянец с лица исчез, из горла хлынула кровь.

* * *

В больнице Зойка бредила:

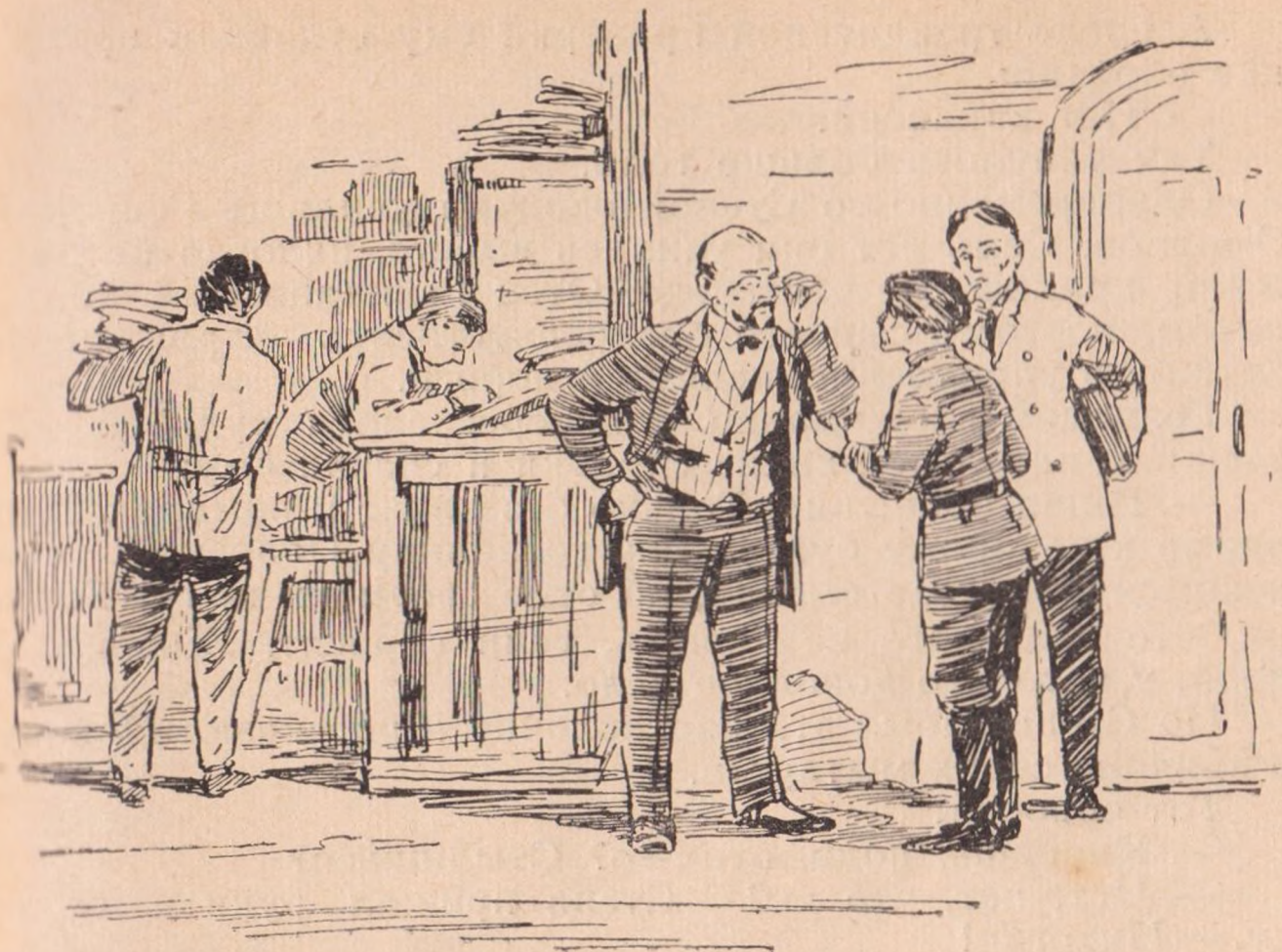
— А помнишь ли, в садике?

И запевала какую-то песню.

Петька сидел рядом, вспоминал слова отца, которые скрыл от Зойки:

— Дурак ты, Петька. Погляди на нее, она грудями хвора. Только с деньгами излечиваются от той болезни. А вам с Зойкой счастья не отпущено.





СТОЛ КОРОЛЕНКО

Рассказ

1.

В 1906 году отца Степы Бояршинова неожиданно уволили из железнодорожных мастерских без объяснения причин. Такая характеристика, вошедшая в употребление после недавней революции, означала, что о поступлении на работу уволенному лучше и не мечтать.

Через два года, окончив городское училище, Степа напрасно тыкался в поисках работы туда и сюда.

Сначала ему говорили:

— Нужен человек.

А после трехдневной проверки ему отдавали прошение обратно:

— Нет вакансий.

Так тянулось больше года.

Одновременно со Степой окончил училище Геннадий Смирнов. Семь лет они учились вместе, никогда не дружили, дрались же частенько. Отец Геннадия был чиновником, поэтому сын его беспрепятственно устроился на службу в управление железной дороги.

Геннадий неожиданно заинтересовался судьбой соученика, навел кой-какие справки и сказал ему:

— Пиши прошение! Только без клякс и помарок. Иди прямо к главному бухгалтеру господину Попову. Я тебя рекомендовал. Да смотри, об отце своем ни гу-гу! Говори, что знать его не знаешь, если спросят. Живешь у дяди, у которого доходное дело.

Но Степа забыл эти наставления и рассказал Попову о причине своих мытарств.

Тот спросил:

— Клянешь, поди, отца-то? Стыдишься?

— Нет, нет, что вы! — Степа прижал руки к сердцу. — Никогда!

Попов вздернул очки на лоб, повернулся к своим подчиненным и спросил:

— А что, господа, этот парнище, пожалуй, подходит к нашей честной компании?

В ответ служащие доброжелательно загудели, а Попов продолжал шутить:

— На Степана Гавриловича ты не похож. Ты у нас будешь Степой, а рассержусь — Степкой.

Все засмеялись. Степа раскланялся и сказал весело:

— Прошу любить и жаловать.

— Настоящий агент компании Зингер! — совсем развеселился Попов. — Становись вот за эту конторку, будешь помощником счетовода.

Потом Геннадий в коридоре шептал:

— Смотри, мальчик! Не подведи меня. Держи себя тише воды, ниже травы. Найди квартиру подальше от отца, оденься приличнее.

2.

Однажды Степа прибежал на службу позднее всех и с порога начал рассказывать:

— Я вчера до полночи Короленко читал! Забыл все на свете.

И вдруг чей-то негромкий голос:

— А ведь он, Владимир Галактионович-то, здесь же вот, в статистике, работал. Где-то в этих комнатах и стол его стоял.

Степа обернулся, но все служащие занимались своими делами. Он подождал, не заговорит ли кто снова, но никто как будто и не слышал о Короленко.

Весь день Степа думал: вот где-то здесь, в этом мрачном здании стоял и, наверное, теперь стоит стол, за которым работал знаменитый писатель.

В перерыв Степа ходил по комнатам, прислушивался к голосам, пытаясь угадать человека, который утром говорил о столе Короленко.

Когда Степа после работы вышел в коридор, его окликнул Геннадий:

— Чего это ты по канцеляриям шляешься? Какой стол ищешь?

— Короленко! — горячо ответил Степа и взял Геннадия под руку. — Стол Короленко в наших стенах, а мы не чешемся, не кипим!

Геннадий выдернул локоть, спросил:

— А когда найдешь, что будет?

— Не знаю... Организуем что-нибудь.

— А тебе-то польза какая?

— Не мне одному. Всем польза.

— Всем? — Геннадий остановился. — Обо всех есть кому думать и без тебя. Ты кто? Временный писарек! Ты о себе думай... Непрактичный ты человек. Наделаешь шуму, в штат тебя не зачислят. Ты ведь знаешь, кто был Короленко. Таких скандалистов, как ты, после пятого года прищемили и...

— Ни черта не прищемили! — рассердился Степа. — Сколько мимо наших окон поездов с арестантскими вагонами в Сибирь каждый день идет? Пересыльная тюрьма полным-полна!

— Тише ты! — испугался Геннадий. — Я за тебя ручался, не забывай!

— Ты слыхал о социал-демократах? — спросил Степа. — О меньшевиках и большевиках слыхал? О Ленине знаешь? Кто он такой?

— Не знаю, — приглушенным голосом ответил Ген-

надий. — Вот есть коммунистический манифест Карла Маркса какого-то. Это тебе надо?

— Да, да! Где бы что-нибудь почитать?

Геннадий оглянулся, прошептал:

— В нашей библиотеке есть особый фонд книг. Не каждому они выдаются. Я вот, например, и сам не интересуюсь.

— Почему?

— Отобьют охоту интересоваться хоть у кого.

— Кто отобьет?

— Ты будто с луны упал... — Геннадий снова оглянулся. — За этими книгами жандармы следят, записывают, кто какую брал. И ты лучше не бери. Помалкивай в тряпочку. А то бегаешь, кричишь... — он вдруг ударил себя кулаком в грудь. — Черт меня дернул связаться с таким горлопаном!

— Трус ты был, трусом и остался, — тихо сказал Степа.

3.

Поссорившись с Геннадием, Степа побежал в библиотеку. Ожидая, когда заведующая Устинова отпустит последнего посетителя, он рассматривал портрет Короленко.

Как ни был горяч Степа, разговор он начал не об особом фонде книг, а о том, как хорошо было бы разыскать стол Короленко и поставить его здесь вот, под портретом.

— Так это вы ищете стол? — обрадовалась Устинова. — Мне рассказывали о вас. Конечно, хорошо бы стол найти. Ведь Владимир Галактионович был организатором нашей библиотеки. А начальство не разрешает присвоить ей его имя. Если вы найдете стол, мы снова будем ходатайствовать.

— А за что Короленко был здесь в ссылке? За что его услали еще дальше?

— Прочтите «Историю моего современника», — ответила Устинова.

Но едва Степа упомянул о книгах особого фонда, она отмахнулась обеими руками, торопливо проговорила:

— Нет, нет! И не просите. «Историю моего современника» ненадолго дам. Об остальном забудьте.

После этого разговора Степа с еще большим старанием разыскивал стол Короленко. Он ходил по многочисленным комнатам управления, искал человека, который указал бы хоть какой-нибудь след.

Главный бухгалтер Попов, кивнув в сторону Степы, сказал:

— Бог его знает! Цифры путает, пункты переставляет. О крале какой задумался, что ли? Так уж пригласил бы ее в церковь, а нас бы на пир. Хоть и лет ему маловато, но все же это полезнее, чем фактуры портить да с лица краску терять.

Все засмеялись, а Степа упрямо сказал:

— Не успокоюсь, пока не найду.

— Неприятностей наживешь много, — сухо проговорил Попов, — а польза какая?.. Брось, Степка!

— Не бросай, Степа. Ищи и ищи. Дело это нужное.

Степа вздрогнул, узнав тот самый голос, что когда-то говорил о столе Короленко.

Из-за дальнего стола поднялся счетовод Карпушев и повторил:

— Это нужное дело.

— Почему, Григорий Иванович? — спросил Степа.

Карпушев улыбнулся стеснительно и ответил тихо:

— Ступай к старым служакам — Керженцеву, Булычеву, Ежову, Волкову... Они с самой постройки сего здания здесь работают и все помнят.

Не думая о том, что начальник может сделать замечание, Степа выбежал в коридор и направился к Керженцеву.

4.

— В чем дело?

— Простите, господин Керженцев. Я узнал, что здесь, в наших стенах, когда-то работал писатель Короленко. Прямо даже радостно сознавать.

— Я-то тут при чем? — оборвал Керженцев. — Не знаю я никаких Королёнковых. Личным составом ведает Ежов. Ступай к нему... или к Булычеву.

Булычев привык иметь дело с клиентурой, и на лице его всегда была заученная улыбка. Он привстал и первый протянул руку.

— Чем могу быть полезен?

Степа сразу разгорячился:

— Оказывается, когда-то в нашем управлении работал сам Владимир Галактионович Короленко...

Булычев приставил палец ко лбу, зажмурился, как бы вспоминая:

— Да, да-а... Позвольте, позвольте... Было, было...

— Писатель Короленко! — обрадованно подсказал Степа. — Вы, конечно, понимаете...

Булычев перестал улыбаться, спросил:

— Какие господин Короленко имеет претензии к дороге? Или что он ищет? Пусть подаст заявление на гербовой бумаге.

— Я бы хотел найти ту комнату и стол...

— А если не претензия, — перебил Булычев, — не жалоба и вообще вопрос, не связанный с перевозками, то это меня не касается.

Заведующий личным составом Ежов, взглянув на Степу, уткнулся в бумаги.

— Да? — это он разрешил начать разговор.

— Простите, господин Ежов, что я обращаюсь к вам с необычным делом...

— Да? — это Ежов поторапливал.

— Когда-то в нашем управлении работал Короленко, знаменитый писатель...

— Да? — это Ежов потерял интерес слушать.

— Хотелось бы узнать, в какой комнате он...

— Да? — это Ежов намекал, что разговаривать надо спокойнее.

—... он работал. Найти стол...

— Да? — это Ежов давал понять, что разговор окончен.

— Будьте любезны, укажите мне комнату и стол.

— А мне чихать на все это! — ответил Ежов.

Выскочив в коридор, Степа чуть не крикнул: «Черт бы побрал их всех!»

Рядом оказался Геннадий, спросил ехидно:

— Горе-следопыт, не открывают тебе тайны?

Степа схватил его за плечи, прижал к стене, цедя сквозь зубы:

— Не подначивай, огрызок карандашный! Дух выдавлю!

Геннадий вырвался, сердито прошептал:

— Берегись! Не только наши служащие, но и на станции, и в депо, и в мастерских прослышали, чего ты

ищешь. Ужас! Не дай бог, начальство пронюхает! За такое по чистой, без объяснения причин выставить могут. Молчий билет дадут! — Геннадий вроде бы всхлипнул: — Репутация моя... лишусь доверия...

Степа направился прочь.

5.

В кабинете начальника службы Графова первым зашел разговор Керженцев:

— Что это, Попов, Бояршинов твой шляется по комнатам, мертвые души ищет? Какой-то Короленков когда-то потерял тут стол...

— Претензий не поступало, — насмешливо улыбнувшись, перебил Булычев.

— Бубнят и у меня! — зло сказал Волков. — Стол! Короленко! Пусть ко мне сунутся! Я им покажу... стол!

Графов погрозил пальцем Попову и Ежову:

— Вы куда смотрите? За Короленко нам с вами не поздоровится... Пусть ищут в другом месте. Не у нас.

Вернувшись от начальника, Попов сел за свой стол и горестно задумался: «Господи, научи меня, как пугнуть Степку, да так, чтобы он, чертенок, умным стал — нашел бы стол Короленко и в беду бы не попал! Отврати, боже, мурло жандармское от парня!»

6.

Начальник хозяйственного отдела Волков хохотал, запрокинув голову:

— И что ты думаешь делать с этим столом? Продать клам с выгодой?

— Да хотя бы в библиотеку снести. Памятная вещь ведь. Да присвоить бы имя Короленко библиотеке. Мемориальную доску повесить, — бормотал Степа.

— Прошлым летом, — Волков поднял палец вверх, — в наш город приезжали великая княгиня Елизавета и министр господин Кассо. И никаких мемориальных досок никто и не думал прибавать!

— Да разве можно сравнить? — возмутился Степа. — Кого? С кем?

— Я и не сравниваю особу царствующего дома с...

Степа понял, что сейчас Волков оскорбит писателя, и перебил:

— И я тоже не сравниваю. Прошу только показать мне комнату...

Волков вскочил, побагровел, закричал:

— Мальчишка! Жандармский ротмистр Кейзер меня за это... — он схватил себя за горло.

Тогда Степа решился:

— Вот что! Я иду к Кейзеру, а он вам прикажет показать ту комнату, где работал Короленко.

— Избави боже! — Волков выскочил из-за стола, взял Степу за плечо. — Ступай вниз... Кассир Белоусов работал с ним... с этим... в одной комнате. Но если только ты где-нибудь сболтнешь, что я... — кулак Волкова появился перед Степиным носом.

— Умрет во мне!

И Степа помчался по коридору. Перед ним, раскинув руки, встал Геннадий.

— Неужели нашел?

Степа пробежал мимо.

7.

Белоусов замахал руками:

— С ума сошел! Народ баламутить!

Но вслед за Степой в кассу пришло много людей. Оттеснив стражника с берданкой, они толпились вокруг Белоусова, просили:

— Не ерпенься!

— Показывай!

— Неужели струсил?

Белоусов проговорил:

— Не к добру такая каша... Ну да ладно!

Он вышел в коридор, толкнул соседнюю дверь. В комнате было много столов; один из них, крайний справа, стоял боком к окну.

— Вот он и сидел здесь. А я тут рядышком.

Белоусов выдернул средний ящик стола, опрокинул. На обороте днища было вырезано ножом:

В. Г. Короленко 1881 г.

— Это когда мы вернулись с вокзала, проводили его в ссылку дальше, на край света... — тихо рассказывал

Белоусов. — Пришли сюда, сели. Тяжело было на сердце, хоть в голос реви. Ну и вырезали.

Затаив дыхание, люди смотрели на ящик, на стол. Каждый день они бывали в этой комнате и не обращали на нее внимания. А стол? Мало ли их, столов? Всю жизнь все они около таких столов толкутся.

И вдруг увидели люди, что повсюду кругом пыль и грязь.

— Надо бы здесь побелить, вымыть. Срам-то ведь какой!

Не толкаясь, подходили к столу, прикасались к нему, гладили, трогали, осторожно водили пальцами по вырезанным буквам, стирали пыль платками, сдували соринки.

— Клеенка-то изнасилась.

— Покрасить его надо.

— Нет, сохранить какой есть.

— По-осторожись!

Уже вносили в комнату кадушку с фикусом, горшки с розаном и кактусом.

На стене появилась неширокая бумажная лента с надписью:

«Здесь работал знаменитый писатель В. Г. Короленко».

Сбегали в библиотеку за портретом. Устинова стояла взволнованная, запыхавшаяся.

— Слушайте!

Все вздрогнули.

Карпушев поднял руку и сказал:

— Но все-таки... все-таки впереди огни!

Раздались тревожные голоса:

— Не дадут завести уголок!

— Давайте выберем комиссию, чтобы с начальством поговорила!

— А я предлагаю отслужить порядочком молебен, освятить уголок, повесить портреты их императорских величеств.

— Да разве можно рядом Короленко и...

— Осторожнее!

Через толпу пролез начальник службы Графов, спросил:

— Что здесь за столпотворение, господа?

Половина присутствующих, и первым Геннадий, быстро исчезла в дверях.

Вперед выступил Попов и, стараясь перебороть волнение, объяснил:

— Господин начальник, мы нашли стол, за которым когда-то здесь работал Владимир Галактионович Короленко. Мы просим вас войти в комиссию, которая ходатайствовала бы перед его превосходительством господином начальником дороги...

Графов рассвирепел:

— И вы? Начальник отдела? Зачинщик! Да вы знаете, что об этом чертовом столе пронюхали даже мастеровые?! И меня хотите вовлечь в это безобразие? Да вы понимаете, что делаете?

Попов умел гнуть спину, но где надо умел и выпрямиться. Он проговорил с достоинством:

— Как же вы, интеллигентный человек...

— Разломать стол немедленно! — Графов затопал ногами. — Сжечь! Сейчас же сжечь! Все по местам! Сторожа! Сторожа!

Графов выскочил из комнаты, а скоро пришли два сторожа и взялись за стол.

— Не тот! Не тот! Вот этот!

— Нам всё одно.

И сторожа взяли стол, на который им указали.

8.

Было решено поставить стол в библиотеке. Бережно взяли его и понесли.

Неожиданно появившийся Геннадий прошептал Степе на ухо:

— Ради бога, со столом на улице не показывайся! Из окна Графова весь квартал видно. Я ведь тебя на работу устроил. Ты...

— А ты послужи Графову: составь список, подай! Тогда тебя и не пристегнут к нам.

— Э-э! Все равно заинтересуются, кто тебя, бродягу, ввел в казенное учреждение.

— А что же ты поисками-то интересовался?

— Любопытно сначала было, а теперь смотри, как все повернулось! Пусть вас всех повесят! Только меня не

подводи! Плевать мне на вашу затею, на комнату, стол какого-то писаки...

Степа схватил Геннадия за грудь, зло затряс и... сорвал манишку. Бросил ее, сказал:

— Иди к черту.

9.

Когда Степа проснулся, его охватило недоброе предчувствие. До службы оставалось еще часа два, но в главных мастерских заревел гудок.

Степа выбежал из дома и увидел много людей, спешивших на улицу, где находилась библиотека.

Вглядевшись, Степа увидел дым.

Когда он подбежал, пламя уже было сбито, крыша разрушена. Здание библиотеки дымилось. Валил пар.

Слышались разговоры:

— Изнутри загорелось.

— Чудно!

— Пожар не всегда с огня начинается.

— Со стола все началось.

— Да ну?

— Помяни мое слово.

Степа хотел проникнуть в библиотеку, чтобы спасти стол, но пожарный, стоявший у дверей, не сказав ни слова, ударил его кулаком, а полицейский дал подножку. Степа упал.

Когда он поднял голову, между мастерами и пожарными шла драка.

10.

Пожар окончательно взбудоражил служащих управления. Многие собрались в комнате, где вчера еще стоял стол Короленко.

Сторожиха Осиповна рассказывала:

— На каланче два пробило, вдруг над головой, а живу я в подвале, стуки недобрые раздались... Ой, думаю, неладно дело! Окрестилась я и туда. Прибежала. Замки изломаны, двери расперты. И увидела: четверо. Трое из простолюдья, а четвертой — совсем молоденькой, франтом одетой. Указал он троим на стол, которой вчера принесли. «Забирайте!» — говорит. Потом увидал меня,

обозвал всяко, на улицу вытурил. А те стол понесли. Я к Зинаиде Ивановне со всех ног. Обернулись мы с ней скоро. А уж пожар горит палмя. У дверей полиция торчит.

В комнату вошел Геннадий.

Осиповна вскрикнула:

— Он!

11.

Пятнадцать человек были уволены из управления без объяснения причин.





ПЕРВАЯ КОНДУКТОРКА

Рассказ

«Стерплю и это»

Робко поднялась она на крыльцо, взялась за ручку дверей, закрыла глаза и прошептала:

— Будь что будет...

Перекрестилась, вошла в кондукторские комнаты. Вслед за нею двери снова раскрылись, и много людей в тулупах и папахах ввалилось в помещение. Ее оттеснили в угол. Люди бросали на пол мотки веревок, сундуч-

ки, ставили фонари, отряхивались, стаскивали тулупы. Навстречу им к выходу повалило не меньше народу, толкались, ругались, хохотали.

Было мрачно от чада, махорочного дыма, испарений. Пахло паленой картошкой, кислой капустой, сохнувшей одеждой, керосином и отхожим местом.

— Ад... кромешный ад это, — шептала в углу молодая крестьянка; она опять перекрестилась и стала оглядываться.

Длинный коридор, много дверей, а в конце большое окно.

Вдруг задрезжал висевший на стене коридора телефон. К нему подскочил кондуктор, схватил трубку, но сначала крикнул: — Тише, черти! Ничего не слышать! — Он неумело прижал трубку к уху. — Кого надо? Бригаду Брезгина? Пепеляева? На шестую путь? Счас, господин дежурный! У нас мигом! — Он бережно повесил трубку, забегал, открывая и захлопывая двери и крича: — Пепеляевская бригада на фронт! Марш на шестую! Дежурный сказал, чтоб мигом все на шестой были! Айда!

И снова забегали, засуетились люди, стали собираться, одеваться, повалили гурьбой к выходу, проклиная кого-то на все корки.

Из кухни с ведром и тряпкой вышла полумойка, злыми глазами уставилась на крестьянку и закричала:

— Ты как сюда забралась? Кого здесь не видала?

Появился густобородый сторож, сказал:

— Не ори. Вишь, небывалая, и так-то сробела, а тут еще ты наскакиваешь. Не пугай зря людей, иди-ка отсюда. — И добрым голосом спросил: — По какой надобности, молодушка? Да не бойся. Мы тоже деревенские.

А кругом тесным кольцом обступили их кондукторы. «Провалиться бы на месте!» — подумала крестьянка и еле выговорила:

— Слышали мы... и я тоже слыхала... надо здесь народу много... кондукторов...

Грянул хохот, раздались возгласы:

— Баба — кондуктор!

— Замерзнешь на тормозе!

— Надует под юбку!

— Распутство это!

— Не жди добра!

— Цыть вы! Охальники!

— Горланы!

— Чего орете? Куликов объявление вывесил. Зовет баб на работу!

— А они не хуже нас. Есть тоже хотят!

— Шкурники вы: от войны запрятались здесь. Хорошие-то кровь проливают на фронте уже больше двух годов, а вы тут окопались!

У оглушенной, потрясенной крестьянки выступили слезы. Бежать отсюда! И она уже отступила к двери. Но к ней подскочил кондуктор Глумов и схватил за рукав.

— Стой, девка! Не трусь! Держись за нас. Не все тут такие. Мы штатные. По началу смеются, а там — пойдё-от! — и он больно шлепнул ее по плечу. — Да что с ними толковать? Не они командуют. Иди сюда.

Старик-сторож в это время услужливо открыл одну из дверей и подтолкнул крестьянку через порог к нарядчику.

Девушка оказалась в комнате с одним окном, к которому боком был приставлен стол. На столе — стеклянная чернильница, засаленные канцелярские книги и множество разных квитанций, ярлычков, расписок. Позади стола чернел большой дощатый щит. В него были вбиты гвозди, крючья, на которых висели ключи и замки; были наколоты квитанции, ярлычки, расписки.

У дверей справа — широкий шкаф, а рядом, на полу, железный ящик. Тут и там стояли ручные фонари, лежали флажки в кобурах, петарды в коробках. На стене портрет Николая Второго. В углу маленькая иконка.

Нарядчик Иван Фомич Куликов сидит за столом. У него плешь, а вокруг вьются седые кудри; шея косит на левую сторону, утонув в стоячем воротнике казакина.

Старый служака, Куликов сидит за этим столом давно и крепко, по-хозяйски, как коренной зуб в десне.

Сейчас он пристально, поверх очков оглядывал вошедшую. Шалюшка на ней старая, аккуратно заправленная под воротник короткого пальтишка, юбка ситцевая, подшитые валенки с латками.

Русая, бледная, с заплаканными глазами, стояла она, сцепив пальцы рук.

— Здравствуй, красавица. Ну, что же пришла? С чем? Чья ты женка? Я что-то тебя не видал у нас.

— Да ничья я не женка. И неоткуда вам и знать меня. Зыкова я, Настасья. Отсюда верст сорок будет.

А пришла я... — от волнения она поперхнулась, оперлась плечом о косяк двери. — Слух дошел, кондукторов вам надо. — И замерла, ожидая ответа.

Куликов стал перебирать на столе бумаги, посмотрел в окно, вынул платок, протер очки, надел их, снял, уложил в футляр, откинулся на спинку стула, почесал за ухом, поскреб нос, лоб, кашлянул. Потом только повернулся и трижды ударил кулаком в стену.

В комнату вошел конторщик.

— Вот тебе, Силин, первая, — сказал Куликов. — К фельдшеру ее. Учи сегодня, завтра, а там оденем и на тормоз посадим.

Силин нахмурился:

— Может, она ни читать, ни писать не умеет.

— Могу, могу! — выкрикнула Настя. — И расписаться, и читать, все!

— А паспорт как?

— Есть. Я уж работала на земле, здесь же.

— Метрики надо.

— Вот они.

Но Силин не сдавался:

— Что я буду с одной возиться? Придут человек десять, тогда всех сразу. А с одной не буду.

Настя вздрогнула, чуть вслух не сказала: «Вот где беда-то! Чего ему надо? Ишь жилы тянет, идол!»

— Не можем мы ждать, — угрюмо проговорил Куликов, — некого посылать с поездами. — И игриво спросил: — Да неужто тебе неприятно поучить такую бабочку? А?

Оба захохотали и пошли такое городить, что Настя то бледнела, то краснела, а про себя твердила: «Бесстыжие... охальники... да уж все равно... стерплю и это... куда пойдешь?»

«Я за вас душу отдам! Дайте мне хлебушка!»

— Ну, Зыкова, сигналы и правила для начала ты усвоила. Вот тебе мое наставление: никому в работе не доверяйся, все сама проверяй, как бы ни устала. Теперь у нас не старательный народ, к службе сердцем не льнут, глядят на сторону, лишь бы войну переждать. Не тот слой. Пойдешь по ихнему пути — ошибешься. Свою голову сломишь, людей покалечишь, вагоны поломаешь.

Читай и заучивай правила, слушайся своего главного. В бригаду я тебя в хорошую поставлю. Но в руки тоже никому не давайся. Ступай с богом, — так закончил Куликов экзамен.

Настя выбежала на крыльцо. Ее трясло, знобило, но не от стужи: за эти три дня она столько увидела, услышала, узнала! До чего же трудно, оказывается, попасть на постоянную казенную работу!

И, глядя на станцию, она зашептала:

— Дороженька милая, паровозики, вагоны мои дорогие, полюбите меня, как я вас люблю, хоть и не знаю! Я за вас душу отдам! Дайте мне хлебушка!

Пронзительно дул октябрьский ветер. Крупой сыпался снег. Скакали и шуршали листья по мерзлой земле.

Голодный клубок подкатил к горлу. Сегодня утром Настя доела краюшку хлеба, которую три дня назад привезла из дому. Нет у нее и угла, где бы переночевать: хозяйка утром отказала, нечем было расплатиться.

Прижала Настя озябшие ладони к лицу и зарыдала:

— Мама! Мамонька! Да где же ты?

Она опустилась на крыльцо. И, ничего не видя и не слыша, отдалась воспоминаниям. Отца и мужа забрали в первый же месяц войны. Про отца не слышно ничего, а Яша погиб скоро. Умер и сынок полутора лет, с голоду. Настя работала во многих местах, но ничего заработать не могла. Одежда вся износилась, сама исхудала. Пошла Настя устраиваться сюда на работу — матери ничего не оставила.

Силин, конторщик, учил хорошо, только все норовил обнять, все говорил:

— Я учу тебя, и ты мне должна. Не уйдешь ты от меня.

Вспомнив об этом, Настя запричитала:

— Да не стоишь ты моего Яшеньки, окаянный!

И вдруг услышала она ласковый голос:

— Что с тобой случилось, детонька? Чья ты такая, милая? О чем так слезы тратишь? Ну-ко подымись-ко.

Настя вскочила. Перед ней стоял старик. Одной рукой он обнял ее за плечи и сухой, шершавой ладонью водил по заплаканному лицу, приговаривая:

— Какой же варнак обидел тебя? А ну-кося, где он? Укажи мне его! Да я истопчу его в шмотки! Дай-ка его сюда!

И краем своей ладони он провел у нее под носом.

Настя рассмеялась, еще раз всхлипнула, поцеловала его в бороду и бросилась бежать.

Остановилась она перед депо. Не заметила, как сунула варешку в рот, жевала. Увидела Настя место, где полгода назад копала канаву с подругами. И вспомнив это, она побежала к ним в барак. Подруги стянули с нее пальтишко, валенки, накормили капустными щами, взяли жить к себе.

Отогревшись, Настя говорила:

— Идите, девки, завтра же идите прямо к нарядчику Куликову. Не бойтесь никого. На дорогу попасть другого подходящего случая не дожидаться. А то там втерлись толстосумы. Помните богатинов Курбатовых? Которые по нашим деревням ездили, задарма скотину скупали да в городе втридорога продавали? Один из них, Прошка, укрылся от войны кондуктором. Не им, а нам там место, горемыкам.

— Ну, вернутся наши с фронту, дадут им пить! — злились девушки. — Не пройдет кулакам! А к нарядчику завтра же пойдем, как рассветет.

— Нет уж не так. Рассветет! На железной-то дороге все по часам двигается. Привыкайте и вы, деревенщина! — Настя вместе со всеми расхохоталась, но тут же подумала: «Как-то будет завтра? Начинается служба».

«Когда прикажете запрягать?»

Перед столом нарядчика стояли кладовщик Спириин и главный кондуктор старик Зверев.

— Бабу на тормоз взяли! Что теперь будет? Ну, казакин я на нее надену, да ведь он сидеть-то на ней будет как на бабе! В грудях ей любой не подойдет, а снизу что окажется? Юбка. Неужели ей и шаровары выдать? А шапку? А ремень? Комедья одна! Тулуп разве подберешь? Что же это у нас за резерв будет? Засмеют нас! — Спириин всплеснул руками.

— Нет, не-ет, — тянул Зверев. — Чтобы в бригаде у меня да баба! Не бывать такому безобразию! Пусть хоть все поезда встанут. Мне легче головой под вагон. Старуха моя покою лишится! И не думайте даже. Не мечтайте. Моего согласия нет. — Он помялся и хотел схитрить: — А может, для начала сунем ее в бригаду Кутькина?

Куликов затопал ногами:

— Да я вас, старых хрычей, самих тормозильщиками посажу!

Настя в полуоткрытую дверь слышала эту перепалку и думала: «Господи, что я им сделала? Чем я хуже кого? Али не справлюсь?»

Подруги пришли вместе с ней, слышали весь этот разговор и теперь вопросительно смотрели на нее, а некоторые уже поглядывали на дверь, подумывали, как бы обратно выскочить.

Это подстегнуло Настю.

— Не робей, бабы! Гляди на меня! — она вошла в комнату, а дверь за собой не затворила. — Здравствуйте, господин нарядчик! Вон сколь народу привела.

Зверев увидел ее, впился глазами, все лицо его сморщилось в улыбке:

— Ладно уж, Иван Фомич, пиши ее ко мне.

— Ах ты, старый плут! — Куликов схватился за живот, повалился на спинку стула от хохота. — Головой, говорит, под вагон сунуть. А увидел в личико и растаял.

В пропахшей нафталином кладовой Настя выбирала и примеряла обмундирование, пока не нашла одежду по росту.

За тонкой перегородкой ворчала жена Спирина, наливая керосин:

— Что, и тебе наливать полную лампочку? Как заправскому кондуктору? Украдешь ты его. Я тебе только половину налью. А уж чистить и протирать фонарь я тебе не стану. Плевать я хочу на такую барыню!

Спирин сказал:

— Вот тебе, Зыкова, кокарда к шапочке с гербом самого императорского величества. Ах, и бравый кондуктор вышла! Загляденье!

Жена его взвизгнула, выскочила из-за перегородки:

— Так ты, подлая, шашни разводить? Мужиков нарядилась завлекать? Не быть тебе на дороге у нас! К попу побегу! Заявлю, что нет у тебя справки! Ты не говела, не исповедовалась, святого причастия не принимала! Тебя и близко не подпустят, сука!

— А вот я ее сейчас причащу к святым тайнам! — Спирин обхватил Настю и поцеловал в губы.

— На глазах у меня? — И Спирина замахнулась фонарем на Настю, но Спирин ударил жену кулаком по лицу.



Та ахнула и, запнувшись за порог, упала на землю; вскочила и молча ушла.

Под Настей пол ходил ходуном, она в ужасе ухватилась за полку.

— Чего сомлела? — успокаивал Спирин. — Никуда она не пойдет. Сейчас мыть полы станет. Через час помиримся. Ступай узнавай, с кем и куда ехать тебе. Да смелее! Бей между глаз всякого. Кулак, он вредный, а полезный. Ты теперь не хухры-мухры, а кондуктор. Теперь уж никто тебе помешать не может, но и сама рта не раскрывай — кругом волки.

На кухне выла Спирина:

— Изгиляется там да целуется с ним, чтоб он ей получше одежду подогнал, подлая.

В кондукторской кто-то смеялся, кто-то охал и ахал. Кондуктор Белобородов, владелец мельницы, старообрядец, теребил рыжую бороду, бормотал:

— Распутство это. Запустили змия, врага человеческого, ко ангелам.

— Это к каким ангелам? Это мы что ли ангелы с тобой? — засмеялся молодой кондуктор Глумов. — Так у нас с тобой вера разная и бог тоже. Катись-ка ты на свою мельницу! — и поднес Белобородову кукиш к носу.

— Смутьян проклятый! Куда весь резерв клонишь? Какие речи от солдат из теплушек приносишь? И рши господь бог и вырви языке... Я жандарма вызову сейчас! — Белобородов направился к телефону.

— Гляди, ребята, старообрядец политику увидел! Молитва не берет, жандарма зовет, архангела, духа!

Шум поднялся до потолка, и даже Куликов не выдержал, вышел из кабинета:

— Что тут за базар?

Белобородов поднял обе руки вверх, крестами сложил пальцы, пошел на Куликова:

— Осени себя крестным знаменем, отец наш! Не дай затмиться разуму своему от наваждения. Изгони змия из храма сего боголюбивого.

— Какой храм? — Куликов руками развел. — Какой змий в кондукторском резерве?

Вдруг все услышали звон шпор: не заметили, как вошел жандарм Берилло. Расправляя усы, он чеканил шаг по коридору.

Настя замерла в углу — сейчас заберут ее, выгонят!

Половина подруг убежала, остальные жалась к Насте.
— Здравия желаю, господа кондукторы! — Берилло отдал честь.

Ему ответили вразнобой.

Белобородов, перекрестившись, произнес:

— Вразуми, господь...

Указывая на него пальцем, Глумов сказал:

— Вот, господин жандарм, смутьян и баламут. Сами знаете, начальство приказало немедля баб тормозильщиками набирать. А он против! А какая ему беда? Разве от мельницы ему доходу убавится? Позорит он наше званье, а пользы от его, кержака, стервятника, ни царю, ни народу, ни отечеству ни на грош!

— Понимаю-с! Зайдите, господин Белобородов и господин Глумов, вот в эту комнату на одну минутку-с.

Жандарм прошел в канцелярию, приглашенные следом за ним.

Все смолкли, не расходились. Скоро Берилло вышел обратно, сказал громко:

— Счастливо оставаться, господа кондукторы, — и мерным шагом удалился.

Люди ввалились в канцелярию. У печки стоял Глумов, заложив руки за спину. У него был подбит левый глаз. У Белобородова заплыли оба глаза, а нос кровоточил.

— Свят... свят... — шептал старообрядец.

А люди заухмылялись:

— Дешево отделались!

— Милосливо!

Стали расходиться. Настя опомнилась, подошла к Звереву, браво подбросила ладошку к шапке и, кося глазами на подружек, бухнула:

— Лопатину получила. Когда прикажете запрягать?

Грянул хохот. А она и не понимала, над чем смеются.

— Как из тебя деревня-то прет! — сказал Зверев. — Паровоз — не кобыла, в хомут не обрядишь.

Когда вызвали бригаду принимать поезд, оказалось, что у Насти пропала кобура с флажками. Нашли ее в спальном комнате под матрацем. Уличили Курбатова. Он и не отпирался, да еще заявил:

— Я больше на первом тормозе не поеду и с веревкой возиться не буду. Пусть Зыкова.

— Да ты рехнулся? Что она, неопытная, в первую поездку сделает?

— Ну уж нет! — сказала Настя. — Не жалейте вы меня. Я справлюсь.

Она взвалила на себя моток веревок, пошла. Шапка съехала на нос, ноги запутались в длинных полах тулупа, и Настя рухнула на пол.

— Это тебе не с кладовщиком путаться! — захохотал Курбатов.

В дверях стоял Куликов. Он проговорил зло:

— Курбатов, сдай сегодня же обмундирование. Вместо тебя поедет... — он назвал фамилию резервного кондуктора.

Курбатов взвыл, бросился на колени перед нарядчиком, шепотом обещал ему барана, телку, целую корову. Но видя в ответ злой взгляд, он вскочил, схватил с плеча Насти веревку, бегом побежал на станцию. Ох, и боялся Курбатов попасть на фронт!

Закручивая сцепления вагонов, Настя прижала пальцы обеих рук, но не замечала крови, не чувствовала боли.

Зажгли сигналы. Состав рвануло, потрянуло туда-сюда на стрелках, и первая кондукторка выехала в первую поездку.

«Последнее звание мне — баба»

Дежурный, проводив поезд, передал на следующую станцию:

— Поезд отправился. Осторожно... Осторожно... Осторожно... едет первая баба-кондуктор.

Полетело по проводам! Железнодорожники выбегали, глядели на диковину, зубоскалили:

— Похожа на доброго!

— Все равно юбка под тулупом!

— И фонарь в руках! Умрешь со смеху!

— А может, это кукла?

— Будет болтать! Она лучше других будет.

— Женщины всегда справнее мужчин.

— Есть-то хочет всякая животная.

С непривычки Настю укачало, стошнило в дороге. Она распахнула тулуп и замерзла.

Стали делать маневры. Настя зря суетилась. Броси-

лась некстати навстречу, а надо было ждать на месте. Вагон сшиб ее с ног. Растянулась она между рельсов, прижалась к шпалам. Вытащили ее из-под вагонов кондукторы. Кто смеялся, кто ругался, а Зверев дал ей такого тумака по шее, что она долго бежала вперед и, споткнувшись, проехала на животе.

— Я тебя, дуру, до тех пор буду тыкать, пока не обучу. Испугала как меня! Куда лешак сует, раз не обыкла? Я те!

Настя моргала, чтобы не дать выкатиться слезам. А Зверев отряхивал с нее сор, снимал соломинки, воротник ей загнул, шапку поправил, со щеки землю стер, бормотал, будто оправдываясь:

— Меня-то самого, Настька, не так еще воспитывали... кровь из носу... Так ты...

— Ничё! Ничё! Жучь... скорее обыкну.

Узелок с хлебом и картошкой, которым подружки снабдили Настю в поездку, стрясло с тормоза. И голодать бы ей в поездках до самой полочки, да была у кондукторов добрая привычка. В своей кондукторской они ели порознь. Но, выехав за семафор, в обратном пункте выкладывали все, что имели, на стол. И если, случалось, у кого-нибудь ничего не было, он это ничего и выкладывал. Ели вместе.

...Прошел месяц. Часто пересаживалась бригада с поезда на поезд, и снова ехали.

Война...

Тяжело жилось, и многие роптали, но условия и заработки на железной дороге были лучше, чем в других местах. Настя не хотела отдыха. Она бросалась к составу, как голодный на еду, и выучила свое дело достаточно. Она уже получила первое жалованье и послала матери денег.

В резерве Настя была теперь не одна, радовалась: много женщин уже работало. Может, перестанут издеваться охальники.

А те не унимались:

— Везде бабам меньше платят. Зачем у нас получают наравне с мужиками? Чего они стоят?

— Их нам для удовольствия дали на тормозах. Вот и денег не жалеют.

— Шлюхи!

И оставляли кондукторов одних в самых трудных положениях, а потом смеялись.

Ладно! И это можно снести, ежели огрызаться, но подчеркнуто любезное начальство приглашало кондукторов в свои служебные вагоны и теплушки. Глядя на начальство, и рядовые не стеснялись. Некоторые женщины не устояли, поддались. Одну даже сняли пьяной с тормоза.

Однажды главный объявил, что будут стоять на станции еще часа два, что-то там случилось. Усталая Настя поднялась на тормоз, улеглась, но не успела задремать, как на нее навалился Курбатов, стал уговаривать:

— Лучше добром...

Настя с трудом вывернулась, вскочила, схватила фонарь и опустила Курбатову на голову. Он свалился с тормоза, раскинул руки. Из головы сочилась кровь.

Подбежал Глумов, шепнул:

— Если сдохнет, говори, что полез, а стукнул его я из ревности. Дай-ка мне разбитый фонарь.

— Нет, не стану я тебя путать. Я виновата, я и в ответе. В каторгу уйду, но пусть меня никто не трогает. — Она порывисто вздохнула, оглянулась. — Прощай, милая дороженька! К жандарму иду...

— Стой, окаянная! — Курбатов поднялся. — Не жалуйся. Не буду больше. В рот воды наберу. И ты, Глумов... Привезут из деревни, я вам баранины отрежу.

— Подавись ты своей бараниной! — сквозь зубы процедил Глумов. — Отстань только.

— Какой же я человек, если человеку же голову сломала! — заплакала Настя.

— Не кайся, — ответил Глумов. — Держись, а то пропадешь. Не жди никакой защиты ни от кого. Да и недолго уж теперь...

— Как недолго? — удивилась Настя. — А чего будет? Не смейся-ко. Никогда мне равной вам не стать. Последнее званье мне — баба...

«Вот я какая!»

Когда бригада Зверева вернулась из поездки, конторщик Силин вызвал Настю в канцелярию и, вплотную подойдя, хихикнул:

— Ну, Настенька, ты в моих руках.

— Что случилось, господин начальник?

— Да ничего особенного. У Курбатова-то башка не зажила...

Настя выпустила фонарь из рук. Задрезжали стекла.

— А чего тебе стоит? — Силин подступал все ближе. — Ну, единова... А? Я ведь тебя учил...

Настя обеими руками оттолкнула Силина и, задыхаясь, проговорила:

— За науку спасибо... Кого из меня сделать хочешь? — И, не зная, чем остановить Силина, крикнула: — Все твоей бабе расскажу!

— Поверит она такой! — расхохотался конторщик и цепко взял Настю за плечо. Она схватила коробку с петардами, замахнулась:

— Взорву!

Желтый от ужаса Силин отскочил к окну, затрясся:

— Зыкова! Настасья! Настя! Уйди, ради бога! Не шуми. Услышат все.

— Пусть! Вот! — Настя ударила каменной доской из-под чернильницы по столу.

Силин взревел:

— Уходи, не лезу я к тебе!

Настя опрокинула стол.

— Отвяжись! — молил конторщик. — Тише...

— Тихо? Тихо надо? Вот тебе тихо! — Настя запустила коробку с петардами в ряды фонарей.

— Рестанка... Ладно, все скрою, починю. Никому не скажу. Отвяжись! Провались! Ради Христа! — конторщик торопливо крестился, бегал вокруг Насти.

А она кричала:

— Вот я какая! Раздавлю, гнида! Хребет сломаю тебе, идолу!

Но гнев прошел, обида иссякла. Насте даже немного жалко стало перепуганного Силина, но, подойдя к дверям, она обернулась, погрозила:

— Убью!

«Прости мое сумление, Настя...»

Поездов становилось все больше. Народу в резерве не хватало. Глумова, Настю и других повысили, назначили старшими кондукторами. Настя радовалась:

— Больше маме посылать стану!

Но за спиной слышала она:

— Бабу — старшим! Кондуктором — черт с ней! — пусть ездит. Но под начало к ней? Нет. Уж бабе я не покорюсь! Не!

— Давно ли работает? Чем заслужила?

— Известно, чем бабы зарабатывают!

Без радости поехала Настя в первый раз на заднем тормозе. Ночь была морозная, лунная. Паровоз буксовал и выбивался из сил: перегон тяжелый, семь верст подъем.

Вдруг сильно рвануло, вагоны остановились и сразу двинулись назад. Поднявшись с полу, оглушенная Настя выглянула и обмерла. Хвостовая часть поезда оборвалась и неслась обратно к станции. Настя схватилась за тормоз, стала закручивать; взглянула на резьбу винта — еще много ниток.

«Спрыгнуть!» — мелькнуло в уме.

Но она крутила рукоятку. Искры брызгали из-под тормозных колодок. Колеса уже не крутились, скользили по стылым рельсам. Мелькнул семафор. Затрясло на стрелках. На Настю бежали три ярких красных огня — хвост поезда. Ближе... Ближе... Несутся на нее...

— Мама! — прошептала она, закрыла глаза руками, скользнула на пол. Это спасло ее: верх площадки раздавило.

Очнулась Настя под утро в больнице, вспомнила: три красных огня неслись навстречу... Ощупала себя, посмотрела. Ссадины, царапины, бинты. «Цела, мамонька!» — обрадовалась Настя, но тут же расплакалась. Теперь уж выгонят. Не удержала, разбила, виновата. Зачем не убило?

Врач осмотрел ее, ласково сказал:

— Лежи, молодка, высыпайся.

— Как лежи? Мне робить надо!

— Наробишься, — весело передразнил врач.

— Да у меня некоторое место не болит, — Настя живо поднялась, но врач остановил:

— Еще заболит. Лежи спокойно. Какая храбрая женщина!

Чего это он? За что ее, бабу, можно хвалить? И, рассердившись, Настя решила: «Тоже такой же мужик. Издевается, кобель!»

Пришел Силин, начал с ухмылочками:

— Зыкова, здорово. Не сердись? Я тоже не сержусь. Меня семь дней понос хлестал, как гусенка, напужала меня петардами. Куликов меня протурил к тебе. Волнуется старик, жалеет беда. Велит тебе как можно дольше лежать.

— Как лежать? Ведь выгонят меня и деньги за пролежку не заплатят!

— Казенных денег никому не жалко. Да и ты теперь старший, в штате. За все заплатят. Комиссия такой акт составила! Весь в твою пользу. Ты как герой вроде, — будто сожалея, говорил Силин. — А Белобородов и Курбатов сразу соскочили. А если бы втроем завернули три тормоза, вагоны бы остановились до семафора. Беды бы не было.

— Да как они спрыгнуть-то посмели? — удивилась Настя.

— А вот так. Нам работа — и стол, и дом, и жизнь вся, а им она — кость в горле... Так вот советую не упускать свое счастье.

— Какое счастье?

— Тьфу ты! — Силин всплеснул руками. — Да такой случай умные люди по десять лет караулят. Ты прикинься: руку которую-нибудь либо ногу выворачивай, криви. А еще лучше — в голове винтик ослабь, будто дурь находит, этакое легкое умоповреждение от потрясения при происшествии оказывай. Еду пока сократи, вся подсохни, не умрешь. Дерись, дергайся или что несуразное мели, глаза выворачивай. Доктора, они жалостливые. По латыни живо определение вынесут. Ну и сгребешь с дороги отступные, рублей, может, и двести. И дом тебе, и корова! — Силин подмигнул, потер пальцы, как будто шуршал деньгами.

— Да ты сдурел, сомуститель! — Настя вскочила с постели. Волосы рассыпались, глаза сверкали.

— Вот, вот! Вот так! — Силин захлопал в ладоши. — Коси глаз, порти, криви рожу-то! Ай да... — он осекся. Настя схватила его за волосы и вытолкала из палаты.

Прибежала сиделка, а за нею вошли врач и Зверев.

— Вот старуха шанежек послала... — Зверев сам чуть не плакал.

— Меня тут Силин учил ума лишению, — пожаловалась Настя, — и как деньги содрать с дороги, варначище. А я здоровая вся.

— Успокойся, Зыкова, — сказал врач, — я лишний раз убедился, что ты здоровая и совесть у тебя неиспорченная.

— Непорченная! Непорченная! — обрадовалась Настя. — И в роду у нас порченных не было... Пропади они пропадом, какие-то там еще деньги. Робить буду. Отдайте мне мою лопатину. Не останусь я тут. Воздух здесь не по сердцу мне. Заберите меня домой, в кондукторскую.

Потом пришел Глумов. Он только что вернулся из поездки. Поздоровался он сухо и оглядывал Настю недружелюбно. А она сразу догадалась о причинах его подозрительности.

— Что зиркаешь на меня не по-доброму? Боишься? Р-р-р! Берегись! Изгрызу!

— Которая нога у тебя завернулась? — в упор спросил Глумов. — Как шарики выворачиваешь? В голове который винтик расхлябался?

— Не ждала я от тебя... — с таким укором сказала Настя, что Глумов горячо начал оправдываться:

— Там Силин всем рассказывает: хотел, говорит, я ее подучить, подсказать, как дуре, а она уж сама дошла и без всякого занавесу здорово представление представляет. Ну, деньги, говорит, сдерет. За сердце меня схватило! И сам я пришел убедиться, правда ли... Прости мое сумление, Настя!

«Уж не пройдет ей так!»

В столовой комнате было много кондукторов. Настя плохо поняла смысл приказа, а конец ее удивил:

—...в военное время и за выполнение должностной инструкции старшего кондуктора Зыкову Анастасию Лукьяновну наградить двадцатью пятью рублями. Приказ объявить...

«Мамонька, пропала я. Теперь жизни не будет!» — не обрадовалась, а испугалась Настя и опустилась на скамью.

Куликов пожал ей руку, залился смешком:

— От лица резерва и я тебе говорю спасибо. И от себя даю три дня отпуска. Съезди к старухе.

Настя совсем растерялась, а Куликов продолжал:

— Такая баба! Такие деньги! Теперь же ей мужика! Да такого, чтобы он ей! Чтобы она... — и захихикал.

Захохотали все кондукторы и тоже пошли городить такую нетунавину, такую бессмыслицу, что Настя убежала в коридор.

Здесь она услышала разговор на кухне:

— Как ловко, стерва! Нарочно не спрыгнула! Подвела двух молодцов под суд.

— Самой ни лешака не сделалось и какие деньги огребла!

— Бабы, они, вражины, всегда поперек идут.

И громче других голос кондуктора Батова:

— Уж не пройдет ей так!

...Через неделю жандарм Берилло составлял протокол и, разглаживая усы, спрашивал:

— Как же так, Зыкова? Была на хорошем счету и вдруг заснула?

— Не спала я, господин жандарм. И дело-то все в светлое время произошло, — тихо отвечала Настя.

— Может, ты имеешь подозрение на кого? Видела кого-нибудь?

Настя молчала, хотя и видела своих, из резерва. И делать им тут было нечего. Она пристально следила за ними. Когда они ушли, Настя перебежала на другую сторону поезда. На ее вагоне пломба была сорвана.

Кондукторская шумела, как потревоженный улей. Свой кондуктор попал в беду! И как! Так каждый сядет в тюрьму: время военное и груз военный. Правда, груз в целости, но пломба-то сорвана, и комендант станции никаких оправданий слушать не будет.

Кто же это напакостил?

Только за пятнадцать минут перед тем Зверев и Настя осмотрели на вагоне пломбу. Она была в порядке. И вдруг сама Настя подняла тревогу.

Ее окружили кондукторы, когда она вышла от жандарма. Десятки глаз смотрели на нее дружески, и она почувствовала, что не одинока, что между нею и этими жестокими насмешниками, охальниками, озорниками нет больше пропасти.

— Век тут провел, такого сраму не было! — Куликов тряс седыми кудрями.

Срам! Это слово стегнуло Настю: она осрамила весь резерв! И она, размазывая кулаком слезы, заговорила:

— Приняли мы, и главный ушел. Слышу — шаги. Присела и вижу из-под вагонов: наши — Харитонов и Батов.

Кондукторы загалдели:

— Так вон оно что!

— Мне они навстречу попали. Грозился который-то: сверну голову лахудре!

— Сволочи!

«Вагончики вы мои...»

Харитонов бил себя кулаком в грудь:

— Знать не знаю! Ведать не ведаю! Нигде не был. Про Батова тоже не знаю. Кто он мне? Не брат, не сват, не женина родня. Компанию с такими не вожу. На кой он мне сдался!

Это задело Батова.

— Вон как? А ты мне кто? Пришей кобыле хвост. А я с тобой, с худым человеком, один раз связался и то закаялся.

Харитонов покраснел, вспотел, смотрел на Батова со злобой.

А Силин хитрил:

— Верно, Батов. Хоть и оба вы пиявки, присосались к резерву от войны, но ты, видно, хороший.

— Я честный! Не обмериваю, не обвешиваю! А это — свиное рыло!

— Сразу видно, — поддакивал Силин. — Молодец, Батов. Дуй его! А за что ты взъелся на Зыкову?

— А за то, что цельную неделю из-за нее рука у меня плетью висела. Посудите-ка сами. Я пошутил с ней, за кофту ей маленько заглянул, а она — бац! — огрела железным башмаком. Я и свету не взвидел. Ну, а потом почему она, подлая, с тормозу не спрыгнула тогда? А? Выслуживается перед начальством. Хвостиком туда-сюда. А нашего брата под суд! — Батов зубами закрипел.

Силин повернул его к Насте и крикнул:

— Вот до чего ты довела Батова! За это он тебе и пломбу сорвал! Верно, Батов?

— Ага!

Сквозь хохот кондукторов Силин насмешливо позвал:

— Господа Харитонов и Батов, пожалуйста ко мне в канцелярию.

В коридоре затрещал телефон. Вдруг все кондукторы повернули головы к Насте. И она, подмигнув им, сняла трубку:

— Ну, кто там? Кого надо?.. Бригаду Зверева? Мигом! Счас! Эй, наши, на фронт! На третью путь! Дежурный матерится.

Поднялась суета. Настя вышла на крыльцо, оперлась о перила, вздохнула.

— Станция! Вагончики вы мои... Спасибо вам, не выдали меня!



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Голодные мужики. Повесть	5
Безземельные. Повесть	36
Зойка-поломойка и Петька-кочегар. Рассказ	60
Стол Короленко. Рассказ	65
Первая кондукторка. Рассказ	77

18085
Служба хранения
Очерского завода

Колчанов Александр Петрович

Голодные мужики

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редакторы: *С. М. Гинц, Л. И. Давыдычев*
Худож. редактор *М. В. Тарасова*
Техн. редактор *А. М. Сычкин*
Корректор *Л. К. Иономарева*

Подписано к печати 2.IV-1959 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂ 1,5 бум. л. 6 печ. л. Усл. изд. 4,92 л. Уч.-изд. 5,1 л.
ЛБ01812 Тираж 15 000 экз. Цена 1 р. 55 к.

2-я книжная типография Облполиграфиздата.
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 1155.

Цена 1 руб. 55 коп.